





Рощины

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВЕТЕР С КАВКАЗА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФЕДЕРАЦИЯ»
АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
«К Р У Г»

Отпечатано в 10-й типографии
Мосполиграф «Заря Коммунизма».
Москва, Чистые пруды, 8.

Главлит № А 16156. Тир. 4.000.
Заказ № 1430. Фосп. № 136.
1928.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Кавказу предстоит громадная социально-экономическая будущность. Кавказ — курорт СССР; и кроме того: место всяческого туризма; путеводители по Кавказу, ориентируя во многом, не дают живого представления о местностях; мы, горожане, едущие отдыхать — не умеем воспринимать природу, вывозя в глазах пыль и гарь городов; на нас — очки этой гари; протереть их не так просто, как многие думают; художественная ориентация (знаю то по себе) также необходима, как и практическая; вторая ориентация — удел путеводителя; но знание о поездках, гостиницах, путях и перечень названий — лишь подспорье для большего; большее — умение подойти к открывающейся картине мест; мало видеть; надо — уметь видеть; неумеющий увидеть в микроскопе напутает, это — все знают; не знают, что такой же подход необходим и к природе; мне приходилось видеть людей, скучающих у Казбека; они говорили: „здесь — нечего делать“. И это происходило не от их нечуткости, а от неумения найти расстояние между собой и Казбеком. Каждая картина имеет свой фокус зрения; его надо найти; и каждая местность имеет свой фокус; лишь став в нем, увидишь что-нибудь.

Первобытные дикари, населяя прекрасную местность, не видят ее красот, ибо красота—сфера культуры, а не быта; природа взятая как быт, не созерцаема; наше городское восприятие природы—иное: не она бежит к нам, а мы должны ее найти в красоте; то, что необходимо для понимания полотен той или иной школы живописи,—необходимо и для художественной оценки местности; я многое разглядел в природе через воспитание глаза в музеях; горожанину свойственен подход к природе через воспитание глаза культурой; горожанину свойственно говорить: „скала, как... у Врубеля“; Врубель—путеводитель, например, по иным местностям Кавказа; сельчанину свойственно, наоборот, стоя перед Врубелем, говорить: „как у нас... в Грузии“.

Описание края художниками слова играет громадную, доселе не оцененную роль; художники должны еще стать краеведами, этнографами и отчасти географами. Что в свое время было сделано Элизе Реклю для стран земли, ждет выполнения со стороны писателей.

Скажу о себе: итальянские впечатления Гете ввели меня в Италию и Сицилию; в бытность мою там—Гете был настольной книгой; через него я своими глазами увидел Сицилию; без него—не увидел бы; это увиденное легло в основу моего интереса к культуре Италии; отсюда мои позднейшие чтения по истории Ренессанса; углубление в историю, географию, краеведение есть органическое продолжение того, чего начало—увиденное места.

Таких элементарно-популярных книг, вводящих в восприятие, увы, слишком мало; турист, экскурсант, просто проезжий, всегда ищут таких именно книг, пусть субъективных „путеводителей“, но „путеводителей“,

уделяющих внимание не расписанию поездов и не перечню названий, а конкретной местности; конечно, мои „Кавказские впечатления“ не претендуют на многое; они появились, как оформление личной, дневниковой записи для себя и нескольких друзей; книга явилась *post factum*'ом; если бы я знал, что записи мои увидят свет, я не так бы записывал; и не там бы проехал. Мой маршрут: Москва — Батум—Тифлис — Военно-Грузинская дорога— Волга; это один из маршрутов, рекомендованных для экскурсий; поэтому даже случайные записи о местах, которыми проезжают многие, могут оказаться небесполезными, во-первых, как тип книги, к которому протягивается рука туриста, во-вторых, как попытка зарисовать художественно мимо мелькающие места и тем возбудить первый интерес к краеведению; наконец, просто как книга легкодорожного чтения (хорошем смысле слова— книга для отдыха); отсюда оправданы и все случайности дневникового стиля; чтобы не придавать книге искусственности, я положил в основу ее свой личный дневник, прием, оправданный и прошлым и настоящим (Пильняк и др.).

„Кавказские впечатления“ не претендуют на многое; но в их непретенциозности, откровенной, может быть, и оправдание, как книги для отдыха.

Андрей Белый.

Кучино, 28 февраля 1928 года.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

БАТУМСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.

Цихис-Дзири. Апреля 13-го.

Нет, — каков перескок: в красках, в жизни сознания, во всех устремлениях. Передо мной еще — кучинский стол; на нем горка из книг: вот и лекции Иоффе, Томсон, мир корпускул, система атомных весов Менделеева и ряд попыток увидеть таблицу его на спирали; мысль старая (в бытность студентом — тому назад 25 лет — передумывал я) получила-таки подтверждение: в теориях Бора; передо мной спираль Бора и ряд моих собственных схем: — ряд спиралей; весь март ломал голову над примиреньем меж „экстра“ и „интра“ атомною схемой механик; согласовать мир Лоренца, Максвелля с моделью, показанной Бором. Мне кажется, — что-то нащупал я тут (для себя — разумеется); странно: в Батуме — остатки еще моих кучинских студий; прыжки электронов от орбиты (номер такой-то) на орбиту (номер такой-то) в сознание живут вспышкой спектров.

Кругом: какой спектр!

Я и друг — на веранде; из зелени, бирюзоватистое, точно озеро, гладкое, точно сам воздух, сквозное — прозрачнеет море; а сбоку развалины дряхнут картинно в плюще, времен Юстиниана, выглядывая из-за кучки разлапистых пальм; справа бросились в море — далеко, глубоко —

чуть матово, тронутые желтизной, облачка — неподвижные, белые: цепи Кавказа; над виллою — снег, не сбежавший с рогов голубых, отовсюду приподнятых легких Аджарских утесов; опустишься к морю, — и видишь: лиловые, желтые белесоватости слабо означенных гор, иль — раствор бледных линий в изнеженном воздухе; то — Анатолия.

Турция смотрит и ночью и днем в Цихис-Дзири.

Каков переход: от еще не сбежавшего снега — к расклоченным пальмам, от сосен — к орнаменту камушков, от нашей кепки к замотанным в тряпки, от этого странно рогатым, каким-то коричневолицым аджарцам, пасущим под нами расчесанных буйволов; где рой атомных теорий? Гляжу на рой мошек — в блаженном безделье.

Переутомляюсь я в год раза три.

Нет, — не верится: тот вот зеленый и в рост человеческий куст, набухающий медленно, есть голубая гортензия; всюду цветет рододендр; а бескорые мощи стволов эвкалиптов — пугают размером: они — необхватны.

Четыре дня мчались на юг; перед Тулою — выбежали из-под снега; открылись липкие земли; над ними — промозглый парок; кое-где снеголеплины — с Тулы до Харькова; с Харькова — всюду бесснежная плешь; на ней — солнечный прояснь; ухмурилось, край показавши, Азовское море; Ростов стал окуривать гарью: стоял желтый чад; и гудел хриплый гвалт; ранним утром увидел верблюда; и — два снежных конуса: то Эльбрус; отлетели назад Минеральные воды, Прохладная; выгибы Северного Дагестана уже насинели из дали: угрюмы и тягостны в хмари вечерней, грозили снегами на нас, а под окнами весело вспыхнули: белые вишни; через цветущую ветку, чуть розовую, мне запомнился синий прощел дымом злого ущелья, меж двух подошедших гигантов; и — грустью повеяло; ведь недалеко отсюда Ведынь; верстах в ста, по восточней, — Гуниб: два

аула, с которыми в памяти связаны боины; нет, „Пленник“ у Пушкина жил в другом месте; но должен бы был жить он — там; вероятно, что передовые форпосты казацкие — здесь начинались; к ночи хлеснуло Каспийское море своим косым дождиком; уже сквозь сон я услышал: Дербент. Появилась охрана: солдаты с винтовками; утром — Баку и чудесная, голая, грифельно-желтая местность; как бывший естественник, сразу я понял: горбины холмов вулканической силою сложены; а в эстетическом взятии эти горбины — сработанный памятник; только художник-работник — подземные силы. Мелькнула Муганская степь; после местность оделась зеленою зеленою; вовсе не желтая зелень московских лугов, и не синяя зелень французских, кудрявейших парков, не серая зелень Германии, и не оливковый, исчерна-темный налет; эта зелень — зеленого, только зеленого цвета; на фоне — цветы розоватые: персики; розовый, нежный миндаль дымел в окна на ярко лиловых утесах; вдали — серебряные цепи (обогнули мы их)

Эти пятна пути поднимаются в полузакрытых глазах моих: свет слишком ярк; его выносить трудно, глаза утрудивши над рядами формул: скучный петит и — галдан барабанов, ломающийся в зрение; носом потянешь; и — Турция: запах турецкий знаком мне; те охровые, серо-белые и серочерные камни и сурики ярких земель, и арабо-готический свод недостроенной виллы под пятнами красных азалий, все после петитов: кричит.

И кричит, заливаясь жалобным смехом в ущельях сыреющих громкий шакал: ровно в девять часов и в двенадцать часов; прокричит и — замолкнет.

Цихис-Дзири, 15 апреля.

Цихис-Дзири дает все, что нужно для отдыха; линии гор, уходящие в воздух, зовут к раствору с землей;

в этом месте возникнет курорт; ситуация вилл, занимающих гребни холмов — превосходна; от всех четырех сторон виллы ныряют в висящие гущи, пестримые цветом, к журчащим сребристо, но сверху не видимым ущельям, заросшим лианами и рододендрами; нет и не может быть тесности: некуда ставить постройку; вершина холма,— и с вершины: обрывины; смело с веранды веди переключку с соседом, сидящим — рукой подать; с ним из-под листьев веранды веди — разговор; но попробуй взобраться к соседу; сперва опускайся к ущелью, чтоб там, повинтив по дороге минут эдак десять, остаться у входа в соседнюю дачу; отсюда придется минут эдак пять прокарабкаться; дача, которая кажется — рядом, отрезана долгой ходьбою; в ярчайших чащобах дороги — ни дач, ни строения, кажется — дичь непролазная, где лишь шакалы, не люди; покой, сырота, гущина и винты затененной дороги; не выскочит ли из расселины горец?

Вдруг, в непроходимейшем месте — и щебет, и смех: это — резвятся дети невидные; смех их погаснет; молчанье; взберись в эти чащи, покажется крыша, дымок, апельсинники, красный песочек дорожки; безлюдно, а люди — везде.

Парадокс сочетания флор: наша флора представлена полностью; сосны, и липы, и тополи; флора Италии чуть-ли не полностью — тут же: магнолии, лавр, кипарисы, апельсин, мандарин; сицилийская флора — есть тоже; Япония — тут: криптомерии, множество странных изысканных хвой; Палестина и Сирия — здесь и Ливанские кедры и лилий жезлы; в это все ворвался крик экзотик: и пальмы и кактусы; трепанный, часто саженный свой лист поднимает банан; как бурьян, через все выпирает бамбук; австралийская флора стоит эвкалиптом, драценами; американская флора, — какая еще?

Уже я не стою, раскрыв рот, пред лиловым каскадом соцветий — каскадом, скрывающим зелень, слетающим с красных, от сырости, ярко пурпуровых заплесневелых земель с сильной подмесью сурика; схватка лилового цвета и пламени почв еще третьего дня удивляла; в острейшие черные гребни осколков утесов у моря врывается пламень, пласты пестроцветны, разительны; ярко-коричневый, красный, оранжевый, охровый и серочерный фон почв, обвисяющих зеленью; сами аджарцы — в коричнево-сером, а то — в черносером: в пестрейших, в теплейших носках; ржаво красные пятна аджарок, их черные буйволы — явно: они мимикрируют почву, как срубы, как щепки, сыреющие при дороге; и те, пав на сурик земли, под дождями становятся суриком; знаю: орнамент аджарских платков повторяет орнамент сложения камушков пляжа (и ночью, и днями скрежетет камнями прибой); как и всюду: культура народа по новому преобразует мотивы природы; мотив всех мотивов: рогатый аджарец идет по дороге с гортанною песней; та песня есть импровизация; что он увидит и переживет, — превращается в песню.

Легко мне под звуки: устал я от думы; и думается (а аджарцу поется) о том, что я вижу: глазные какие-то думы; из глаз выпиваю их; что я увижу, о том и подумаю; скачут через камни хрипящие хляби, взбелаясь расхлопами пены, забисерясь шипами; веером кружев по пляжу бегут; вот обратно, сливаясь струйками, катят свои круглячки; с нарастающим ржаньем сгребаются в лапы сигающей новой волны; за волною — волна; как и мысль, — без конца, без начала; в лицо — иодом пахнувший ветер; а в трех сажнях от камней под поверхностью моря — дельфин; поднялась на мгновение огромная, черная морда, прошел над серебрянозеленоватою влагою черный плавник на

дуге безголового, будто бесхвостого тела, ушел; всплеск большого хвоста.

Нет его.

Так вот я: что увидишь, — о том и помыслишь; глаза проглядел; их закроешь — рябь камушков.

Каменной болезнью болею; коробочки: в них — лежат камни; не стыдно мне: профессора в Коктебеле болели болезнью моей; помню я, — как приехал солидный профессор; три дня гулял в длинных штанах на морском берегу; на четвертый же — в трусиках как-то стыдливо заползал он (на четвереньках); отыскивая в круглячках брызги „слезок“*), да так и проползал все лето (солидное имя в науке); натурам же легким — художникам, — самой судьбой показано, бросив заботы, отползать положенный срок.

Уже складывается режим: совершенного отдыха; организация отдыха — трудное дело; бездельничать просто нельзя, а то сразу — устанешь; безделье тогда исполняет свои надлежащие функции, когда минуты разобраны, времени нет, чтоб помыслить о деле.

Безделье для нас это — нужное дело.

И мы начинаем порядок дня — сбегом: под волны; часа полтора загораем, вдыхая целеящие, солоноватые воздуха; море меняется: вот — незабудковый цвет; омолочился он; вот разрезалась сплошность морская серебряной ясню; но врезались в яснь синечерные хмурины; иссинь-черно-зеленое, все полосатое, море; а к вечеру выблеснется фиолетово-серый, иль розово-желтый отлив; море в нем — задымеет; и в непроницаемой хмури — свернется; нет моря, — лишь дым; будет слышно скребение тысячей громких когтей, отцарапывающих от берега, в берег бросающих — камни.

*) Прозрачные камушки.

В сиденье у моря — часы летят; занят всем этим: оттенками, камушками, стадом коз, проходящих по берегу, и разговором с рогатым, таким крючконосим аджарцем с глазами ребенка, которому ты поднесешь папиросу; а — выборы камушков? Вовсе не легкое дело. Тут сметка нужна, нужен глаз, чтоб расценка оттенков, отбор их был правилен: каждый прибой прибывает свой цвет; надо зренье, чтоб видеть сегодняшний стиль дара моря; его уже завтра не будет; лови момент: камушек этот вот, именно этот; ведь больше не будет таких.

Возвращаемся с берега, пересекаем гремучее пеной потока ущелье с тяжелым уловом камней, чтобы отсортировать их: до обеда; из открытых дверей — то же море: сквозь пальмы.

И — пять часов дня: пора вверх (горы ждут), иль — в ущелья, в винты колесящей дороги, являющей виды, то — справа, то — слева; и вновь подставляющей вместо прогляда отвесную стену земель с неизменным каскадом цветов; будут гребни — вон там: и метелки изогнутого кипариса — оттуда; и будут ущелья — отсюда; с невидного дна их — перенье гигантов стволов, уходящих в зеленую и непроглядную гущу.

До вечера так.

Будет вечером — невыразимо огромный Юпитер, дающий над морем свой отблеск; под листьями странной павлонии можно часами неметь в разгляденье игры звездных отблесков на распростертом просторе.

Градация разного рода безделий, — ответственно организованных, переполняет часы: день, как полная чаша в потоке живых восприятий, как сок виноградный, забродят они.

Их — бери! В этом взятии ведь — загрузка серьезнейших мыслей.

Воистину: дело не легкое править хозяйствами мыслей; хороший хозяин, — тот знает, когда надо сеять овес, когда — лен; а не всякий мыслитель вполне овладел примитивною мыслью о том, что для верных посевов нужны неизбежные сроки; нужна и культура, чтобы возвращать мысли; посеет, — и вырастет дрянь в голове.

Это значит: *mens sana in corpore sano!*

Цихис-Дзири. 30-го апреля.

Вот как это случилось: однажды орал напролет всю ночь этот пакостный плакса, — шакал; просто маленькая собаченка; орет же, как ... как ... бронтозавр, если этот последний орал (не силен я в палеонтологии); пес же Авдей, потрясенный явлением соперника (к „даме“ Авдея поклонники ходят), не лаял; шакал, обнаглев, заорал под окном (он обычно скулит из лощины, среди родо-дендров).

Мы выскочили очень рано, — в беспрокий денек, и холодный и жаркий (бывают такие деньки, — с тупиком); на него я наткнулся, едва не свернув себе шею; „свернув“ — выражение аллегорическое; никакого „сворота“ в прямом смысле не было; все шло, как следует, но из причин вытекали вполне беспричинные следствия; день лучезарный — а мы издрожались; с коллекцией теплых предметов, спустились на пляж; на нас ринулись буйволы; пляж задушил: раскаленные скалы дышали, как печи доменные; я, разбросав свои куртки, остался прелегким; но солнце кусалось: напек головы — под утес! Но там, — пещь Даниила; мы — вверх; но в ущелье пристал проедающий тело до кости ознобик; карабкаясь к даче, мы видели, как запахнулись окрестности: в серые, в сизые, в синие мути; сквозь них пропоролись холмов голубые рога; с той поры и пошло: ни тепла, ни про-

гулок: мгновенный ожог от мгновенного солнца; и вновь — холодок проникающей сырости.

Да, — обстоятельства, можно сказать, исключительные: холодные и пресырые: с ожогами!

Промерзъ; в вершину холма, на которой сидит наша дача, со всех четырех сторон дуют зефиры — с подрёвом; спустишься вниз на пятнадцать всего саженей, — парники; выше — снег; ниже — чашка японских магнолий иль дерево розовое, неосыпное (вовсе не куст); на дороге готов облачиться в адамов костюм, а чуть выше — потянешься за эскимосской одеждою; в сутки проходит градация температур: от московской до тропиков; взвояет — из хмури свинцовой дождь косит; растащится хмурь во мгновение ока: не то, что уйдет, — просто сгинет, став темного цвета, слегка омутненной лазурью; и — нет омутнения: солнце, безоблачность, пташки, развёрк; ты все сбросил и — в море; туман, встав, плеснул; лишь — верхушки; и — мир не вещей, — силуэтов; их — нет: мгла, хоть полдень.

Б а т у м!

Я жонглирую тщетно подборами всех одеяний — от теплых носков и фуфаек до... трусиков: на протяжении дня; хожу с проткнутым зубом; себя хинизирую; от Кобулет — маляринная местность.

Случилось дней десять назад это все.

Живу в башенке; комната, вся, есть проход к двум балконам, свисающим в сплётень пальмет (листьев пальмовых); льнет гордый лавр; чрез перила бросают огромные лапы царапая ноги, драцены; с балконов такой открывается вид — на Батум, Анатолию, Аджаристан, море, главные цепи Кавказа, — что, взойдя на балкон, не опустишься; днями, ночами — сиди: прибежала компания разных ландшафтов (и горы, и море, и кручи, и шири,

и дали, и близи, и земли, и камни, и купы деревьев, плюс декоративная крепость под сетью листов виноградных); схватились ландшафты, составивши круг; стань на левом балконе, — одна группа видов, на правом, — другая; сидишь, как на пупе, в обстановке красот; но сидеть — не приходится; правый балкон, из которого режет, как саблей, ледок ветерка, — занавешен ковром; левый — прочно захлопнут; и в ручку дверную просунут бамбук здоровенный; шквал вскрыет щеколды, срывая замки; двери — настезь; из хлещущих сыростей встрепеты пальм; и ты — кубарем; башенка в самом прицеле ветров; тихоструйный зефирик, крылатый малютка (таким он рисуется в аллегорических изображениях ложно-классической эры), — крылатый зефирик, надувши пузыриком щечки, жарит по железным листам, точно гириями: „Бам“.

И ночами, закутавшись, скорчившись на эфемерной постели, серьезно тревожусь, что я, опрокинувшись вместе с оторванной башенкой, вниз головой, отнесуся на север.

Здесь северный ветер приносит погоду; из Турции ветер несет холода; впрочем, северных ветров не знаю: а южный работает: за все ветра!

Так отрезан от собственной комнаты (в ней я лишь корчусь ночами), сижу в грандиознейшей комнате друга; выводит к веранде, огромной и каменной, в виснувших листьях, с просторами моря, и с чувством полета, который испытывают в вышине; мы живем на вершине, а сбегов — не видно; там, — воздух; все море — под ним; этот вид окрыляет фантазию; кроме того: мы единственные обладатели этой веранды; ведь мы в Цихис-Дзири туристы — единственные; к сентябрю все наполнится; ныне — пустует; веранда — для нас; сад — для нас; но веранду прохлестывает южный дождик, турецкий, косой, подозри-

тельный; морось на камнях; веранда отрезана; в комнате — сумрачно; топится печь (хорошо, что хозяева, милые люди, — отчаянно топят); я думаю, что под Москвою — не топят уже; здесь — промозглость: все краски мои распустились: из „не что серого“ воздуха пышно протянута яркая, оранжерейная зелень; вид странный: цветы, как огни, лижут мглу; между тем: в половине восьмого — ни облачка (после вчерашней свинцовости); главный хребет — на ладони: весь белый; под ним — два ближайших хребта: темносиний, рельефно очерченный; и еще более близкий и низкий, уже сероватый; вид — горький: по опыту знаю: к дождю; там в хорошие дни — непроглядно; появятся горы престолами снежными — знай: будет тускль; будет серь косохлестить; надвинется войско туманов.

Знакомый из Чаквы на днях испугал: он в ответ на мое удивление, сказал равнодушно, отряхивая папироску: „Батум — писсуар всего моря“; встревоженный этим, я бросился к книгам; из книг я узнал, что батумская флора имеет ряд сходств с допотопною, что на земле всего несколько пунктов таких, где еще доминирует климат третичной эпохи; так, — древние папортники — процветают; растет и вид дуба, похожего на ископаемый дуб: *Quercus Pontica*.

Что ж, — остается утешиться: этот вид неба — парная теплица, в которой несет из щелей — допотопен; невнятица — внятица климата, но — допотопного; воздух был губкой, по порам которой сочилась вода океанов; когда ее выжали, стряся потоп; этот миф, мной состряпанный, — не утешает; с чего Ной таскал моих предков, их высадил на Арарат („размножайтесь, потопа не будет“)? Потомки, осев под Батумом, сидят перед тучей потопной и думают вновь о ковчеге.

Я с этими мыслями все пристаю к очень милому, очень заботливому обладателю дачи, хозяину нашему Д. И. Ростовцеву; он уверяет меня, что период дождей — на исходе; дня два — будет солнце; май — время сухое.

Не верю: грожу перманентному облаку — из растеплейших паров, но — с прослойками холода; пар перманентно гоняется: с юга на север и с севера к югу: от гор Анатолии к Потти; от Потти — до гор Анатолии; может быть, эдак верстах в тридцати — сушь и солнце; третичный период — батумская бухта, вспоившая пышность огромных цветов; в них есть что-то звериное даже мечтаем о Новом Афоне.

А то в этих хлопках становишься просто дрожащим буддистом; кишкой рассуждаешь: мозгами слабеешь. Где атомы? Где Резерфорд? Не до них: сел, поджав под себя свои ноги; и — думаю: скоро четырнадцать дней, как миры силуэтов предстали из твердостей. Мир здесь — мое представление. Так бормотал, перейдя в шестой класс, и достав Шопенгауэра, игрывавшего на флейте, потом — погрузившего мысли в туманы (страдал, вероятно, желудочным недомоганием он).

Я стал тоже — флейтист пессимизма; шакал, прибегающий ночью с развалин, — тоже скорбит; все — симптомы влияния флейты; флейтисты засели в горах; и ночами, и днями ветра выдувают нам.

Тщеты мои подперенья при помощи „бы“: „мне бы то, мне бы се“; мое „бы“ — просто бык: бык упорства быть — бодрым и твердым в районе не твердом; „бык с брыком“; усилие к бодрости — просто мораль; но она размякает в косметику: в позу.

Вот-вот прояснилось: но не над нами — над морем; верстах в десяти — сверк, безоблачность; все Кобулеты — под солнцем; и мыс, у Батума, — под солнцем; мы — в

облаке; так полагается; о, допотопная бухточка! С кручи туманище сизый, коричневый, серозеленый ползет. А чтоб нас доканать — блеск пред нами: вот вот заще-кочет носы; подставляем; но пальцы лучей убегают; ще-кочется рябь отходящая; сизый, коричневый, сизозеленый туманище все одолел; сел на спину; ее подставляя дождям, закрыв ставни, чтоб серозеленый туманище скрылся; буддистом сажусь созерцать кончик носа, еще не сгоревшего, и размышлять о «субстанции снов; этот рог изобилия сыплет на голову мне пренелепицы; зросли снов! За нелепостью — новая! Логика их интересна; сны — то же, что в мире ботаники — мхи, лишай; только барышни интересуются розами; мужи науки сидят с интересом над гнусным лишайником: так отчего ж не исследовать логику ассоциации; это — лишайник, не роза; и розу' я — барышням шлю; а лишайник — себе оставляю.

Сегодняшний сон.

Снилось, будто — экзамен; достал я билет; на билете написано: „Ка“ (буква „к“); заключаю: экзамен моих звуковых восприятий; приват доцент, Луп Алексеевич Гаган, потирающий руки от радости меня помучить, — ждет, что я скажу: а — не знаю: ну, „ка“, — что расскажешь? А между тем, — бурный, словесный поток изо рта побежал; артикулирую твердо рацеи, стараясь вникнуть в их суть; замечаю, что фразы, как пуговики, сыплются; ба, это — лекция из геологии: о размывании водами горных пород, о работе прибоя, точащем осколки камней, превращающем их в круглячки, из которых с товарищем мы подбираем орнаменты; вот о чем я; так что тема билета есть довод мой в пользу подбора камней с эстетической, геологической и лингвистической точек; стояко я прав, ибо „Ка“ есть кристалл; или „ка-мень“; пример: андезит; „мень“ — процесс превращения

в глину: каолинизация; вижу, что Луп Алексеевич Гаган, прежде строгий,— в восторге; я, взявши над ним превосходство, уже наступаю: все „Ка“ суть кристаллы; „га“— выветрень; „ха“ же — песчаники; ставится пять мне: и в общем, и в целом. И я — просыпаюсь!

Мой спутник смеется: „Вот логика в духе романа „Москвы“. Но „Москва“, первый том, в стилистическом, найденном мной в Коктебеле приеме,— продукт собирания камушков; сперва раскладывал их; Макс Волошин смеялся: „Ты дрянь собираешь“! Потом Богаевского он приводил; я же — мозаичистом стал; осенью сел за „Москву“, и — увидел: мозаика стала — приемом; я стал подбирать слово к слову, так точно, как камушки я подбирал в Коктебеле; иные сказали, что — дрянь, а иные..

Батумские камушки — станут мне томом вторым.

Ехал к отдыху; думаю же о работе: не ехать ли в Кучино?

Штрих: 25-го вдруг просияло; мы шли пешком в Чакву; кусали затылок раскалы небес; справа, слева огонь перекрестный утесов из груди рвал воздух и щеки палил: я, бродивший в Ливийской пустыне в одной легкой кепке (положим — позднее без шлема уж не рисковал бродить), здесь, средь сыростей, в мягком апреле, меж двух туманных дней (с ветерком ледяным), я, сорвавши пиджак, его вздернул на голову и не без страха высовывал в солнце свой нос; это вешнее солнце — опасно в Батуме; ожог — незаметен; спалишь часть руки,—будет вечером жар.

А треть кожи спалишь, — будет: смерть.

Цихис-Дзири. 5-го мая.

Когда говорят под Москвою „Батум“, разумеют не город Батум,— побережье батумское: от Кобулет через Чакву,

Батум,—до турецкой границы; то — наша Ривьера, в которой встречаются: склон Гималая с Австралией и с Калифорнией, где юг Японии скрещен с Сицилией, не говоря уж о том, что верст на-сорок местность обсажена флорой тропиков; это сплошной ботанический сад, состоявший когда-то из сотен отдельных участков, где тщательно производились пробы акклиматизации разного рода чаев, разводился японо-российский бамбук; сам собой рос банан; насаждались группы драцен, эвкалиптов; я не говорю о других перспективах, которые здесь открывает Аджария в будущем; полное перерождение края возможно; и—легкое: пробы культур на участках суть ценные лаборатории, ткущие новые ткани, в которых заблещет пленительно тело красавицы края; кавказское платье отбросится; в пестром тропическом платье, увешанном чашами мощных цветов, живо видится местность; растительность Мексики, Индии, пав на аджарскую почву, без всяких особых уходов становится быстро аджарскою.

Не было некогда в этих местах ни тростинки бамбуковой; самый бамбук завезен из Японии; но он стал сорной аджарской травой; он лезет из почвы погибельно; где культивируют для производства его, как-то, около Чаквы, там рощи качаются; ствол же — порою стволище: он—толще руки; где разводят иные культуры, с ним борются; прет отовсюду он, как рододендры; к июню поднимутся тонкие, нежные злаки, как будто нарочно рассеянные среди прочей травы¹⁾; но в то время, как прочие травы останутся травами, „нежные злаки“ бамбучные взлет развивают стремительный; и не пройдет двух, трех дней, — на аршин-полтора уже зыблется тонко-изящная жердочка; верх ее—злак; он—расчешется; низ—стерженек—

¹⁾ Я позднее присутствовал при появлении „муравы“ бамбуковой, являвшей несчастье для хозяина того участка, на котором я жил

побежал не по дням, по часам: вверх и вверх; чрез неделю он — бухнувший, гладкий, зеленый, твердеющий ствол; вместо нежной травинки — распёртая никнет, ныряя на ветре, вершинка; коли не взяться за искоренение стройно взлетающих рощиц, то в том же сезоне, продеревенев, они станут: сплошною, бамбуковой зарослью; местные жители, полусхута, уверяют, что если надеть на бамбук утром шапку, то к вечеру шапки не снять; закачается над головою высоко она; шестом — снимешь: рукою — не снимешь; поэтому: там, где бамбук не разводится, он — истребляется, чтоб бамбуковой ей не становилась батумская бухта; бамбук — завезен. Но он стал атрибутом Аджарии; искоренить невозможно его.

И почти то же самое с чаем.

Чай появились лет тридцать назад; были выписаны чаеводы китайцы; вопрос о возможности культивировки чаев был тогда еще спорен; теперь размножение иных сортов чая (*Camelia thea japonica*, или *Camelia thea susangua*) — в природе вещей; недособранные семена всходят сами без всякой культуры; мы все пили чаквинский чай, продаваемый, как чай китайский, индийский; вы помните „К. С. Попова“ чай: то чай — подбатумские; в этих окрестностях до революции более 1000 десятин занимала культура чаев; центр культуры есть Чаква, соседнее с нами местечко; во время гражданской войны, разумеется, пала культура тропической флоры; но ныне правительство употребляет все меры к поднятию ее; и недавно читал я проект, разрабатываемый правительством ЗССР; в нем Аджария значится, как поставщица чаев для Европы (включая сюда СССР, разумеется): двинули чайное дело; и аджаристанский чай в будущем законкурирует с чаем цейлонским и с чаем индийским; вся чайная площадь Аджарии обозначается вовсе не тысячами десятин, а —

десятками тысяч; так чаквинский чай привился; нет участка, где б не было кустиков чая; все пьют чаи собственные; покупать для владельцев участков чай, — стыдное дело, как, скажем, — картофель (для наших крестьян).

Чай обычный не требует сложной культуры; чай сажают в грунт; между тем как в Китае культуры чаев специальные (до высадок в гряды). Конечно упрощенный способ посадки снижает достоинства чая; он — менее вкусен и меньше дает аромата тогда; но дефект — не от почвы Аджарии.

Так, как бамбук, расплозается в Аджаристане японский банан (*Musa Basjoo*); его прежде не было; ныне — он есть; весьма прочно стоит: без поддержки; его не разводят, а он осыпает холмы; и развертывает повелительно лист свой единственный, часто саженный, который, как знамя зеленое, что-то лопочет и треплется в ветре; но снискивает снисходительное отношение к себе: „Да, банан“, — говорят культуртрегеры — „а для чего? Он плода не дает: разве что... для забавы“.

Банан себе — шествует: без покровительства; с горного склона — на склон; от участка к участку; когда-то японец, он стал настоящим аджарцем.

Таким же аджарцем, аджарским красавцем, стоит эвкалипт австралийский: гигант из гигантов.

И — почва же! Мне говорили, — во время цветения гортензий из них собирают здесь веники, чтобы полы подметать ими, розы цветут беспорядочно: поотцветут, и опять — расцветут; для иных деревьев — осень сейчас; собираем апрельские сохлые листья; и пальмы — линяют, зонты опустивши свои и из них развивая пучек неразвесистый; для мушмалы это время — склон лета; плоды мушмалы начинают вполне золотеть; апельсинники — переживают весну: стоят в завязях маленьких; через недели три сад

превратится в чистейшее благоухание; и флер-д'оранж белоснежной фатою оденет деревья; а жители нашего климата едва юнеют, как им подобает юнеть, скажем, в Киеве; когда приехали, то — отцветала мимоза.

Сквозь гнева на то, что нет солнца, — у нас вырывается крик восхищенья, когда мы по хлюпающей мокроте забираемся в чащи; не думаю, чтоб с Цихис-Дзири сравнялась хваленая Ницца; на зло холодкам, подсырениям и свинцовой тьме, о, как буйно вскосматилась местность градацией всех зеленей; вот косматится черно-зеленая зелень; вот яркость бросает — зеленая зелень; вот — серо-серебряная та же зелень; а вот — пожелтением обозначаются наши породы; не знаю, какая порода розеет; багряная всклока кустов, — заросль роз; но багреет не цвет и не листик засохший, а песни поет — комсомол юных листиков; вовсе не зелень, но — рдянь! А стволы? Тот — бескорый (то — белый, то — серый) стоит: эвкалипт; серобелый — чинаровый ствол; вот — девица чинара: всего восемнадцать ей лет, а ее не обхватишь руками: ствол — старый, ствол — крепкий; а там, к Кобулетской дороге, свисает неведомая мне древесность: серебрянорозовой гущею; ствол — перламутровый.

Две лишь недели назад еще были места, где голела стволистая чаща; теперь — все стволы бородажные; в бок разрослась борода от стволов, презеленая, производя впечатление, точно стволы обвернули, нарочно убрали какую-то декоративную гущей: лианник пустился расти; скоро он, перекинувшись с дерева к дереву, в сплошность зеленую все превратит: и не будет стволов; будет цапка, пахнущая лимонадами гуща, — сырая, тенистая, жуткая; без топора — не прорубишься; без топора — не пройдешь.

На прогулке сегодня мы остановились перед стволом неизвестного дерева; я сорвал лист шириной в шесть

вершков, а длиною в 17; лист сложен розетками; Д. И. Ростовцев, любезный хозяин наш, с утра до вечера роющийся с детворою в земле, выбирающий камни и в поте лица свои земли скребущий, мне стал объяснять: „То — павлония; она — цветет; ее запах вы слышите“. И он подвел к ней (павлонии много в саду у нас); цветок — лиловый, с коричневым, четким подкрасом; Д. И. нарвал горсть пышноцветную; нюхал ее: этим запахом мы удивлялись сегодня; пропахла им местность; мой друг удивлялся: „Заметьте, — несет удивительной, нежною свежестью: бодрою свежестью, силы вливающей“. Когда цветы он понюхал, заметил: „А вот она, эта активная свежесть“.

Недавно цвели рододендры; теперь же павлония бледно-лиловый развесила цветик; цветенья сменяют друг друга: то местности — в красном, то — в желтом, то — в синем.

Сегодня Д. И. меня долго водил по своим пестроцветным владеньям, прочтя курс; стояли над грядкою чайных кустов (двести кустиков) свежих, с обрезанными концами листов: чай — собраны; и смотрели — на крытое почкой лимонное дерево, на кедр ливанский, на белый большой олеандр; лавровишня, которая — вовсе не лавр; а вот вид простых сосен; под ними — гигантская шишка, сосновая шишка, как наша, но... но... с ананас: весом с фунт!

Кустик розовый наш — часто дерево здесь. — „Вот клубничное дерево“ — стукнул о ствол просветитель мой: „Плод его — точно клубника“. Вот — кактус, агава; ей 25 лет; ее листья, покрытые цепкой колючкою, — тверже ствола; можно бить бамбуковою палкой по ним, — ни следа, ни царапины.

Жутко-роскошная зелень!

Мои ботанические интересы—неспроста: мы только что были в Саду Ботаническом; Сад Ботанический (вблизи Батума) есть гордость Аджарии.

Средь возмутительной мглы, распростертой над днями — день выдался: в небе — ни облачка; в 5¹/₂ часов мы вскочили; увидевши чудо природы, иль — солнце, решили: использовать день.

В семь — на станции; уже к восьми — на Зеленом Мысу (местность дачная); тени душили парной теплотой, многовонной, настоящей на испарениях многих дождей, чащ, цветов, малярийного пренья корней влагой пышащих почв: хорошо здесь до... дури, до грусти; отсюда один из проходов в Сад; он начинается прямо с Зеленого Мыса; и тянется чуть не до Чаквы, сливаясь с плантациями, упираясь в платформу с названием: „Ботанический Сад“. Но удобнее обозревать этот сад от Зеленого Мыса.

Пространство его — говорят, — десятин до восьмидесяти; разработана в парк — часть пространства; и Сад — замечателен; Сада такого не видывал я; знаю Каирский, чудесный индейскою флорою, — с мангровыми деревьями; и — прочими аттракционами; он — разработанней, больше, культурней; теряется он в обстающих булакских садах, в нем индейская флора, а он уступает батумскому; этот простерт в гущи — леса, гор, скал, ручьеносных лощин, в сады вил с флорой той же, тропической; все то — врывается в Сад Ботанический, с ним сочетаясь в ландшафт; и к нему подбегает лазурное море, порой с трех сторон; он перпендикулярами поднят над морем; а там, отступя от морских побережий — сжат тенью ущелий, иль — вздернут тычками, с которых глядишь на обстанье хребтов: Кахаберского, Анатолийского, главного, снежною цепью привставшего — за 200 верст: из-за моря; сама он Колхида:

та самая, пламенная, с яркокрасной, коричневой, золото-желтой землею „руном золотым“ (залежь охры), и с чернью утесов, усаженных здесь криптомериями, эквалиптами, пальмами, серокогтистой агавой; и — прочим: в нем — вся концентрация роскошей, сад обстающих; такого обстанья, такого востанья в окрестности нет в пресловутом каирском саду; оттого подбатумский сад — воображение пленяет; и ты понимаешь, что, может быть, именно в эти места притянулись мифические аргonautы; и даже Сады Гесперид вспоминаешь, вступивши на почву Зеленого Мыса.

Магнолии, строй хамеропсов, каскады азалий, градации пальм (вплоть до финиговых, до кокосовых) флора Флориды, Австралии, Мексики, флора Китая и Новой Зеландии — грозно кричат, эксцентрично ломаются, жестикулируют, вдруг обступая; отдел Калифорнии; вот — мексиканский отдел, австралийский, чилийский, индийский, японский, китайский; вот здесь специалисты на тонких станках выпрядают одежду грядущей Колхиды; глядишь с удивленьем на пышности и с уважением думаешь: в будущем близком — отсюда расширится будущность края; когда осознается: Сад может стать мощным трактором, Аджаристан перепыхивающим.

Все же надо отметить, что Сад в настоящее время — запущен: война и суровые годы оставили след.

В разных месяцах разные части цветут; расцветится Америка; цвет Гималаев взойдет; цвет японский отдел, расположенный над гущиною холма на отчетливом склоне террасами — в день, когда были и мы; в верхних террасах росла сухопутная зелень; внизугнулись мостики над озерцами; то — водная флора.

Японские сосны, какие, не помню, пушились миллионами игл, как красавицы, ластяся к солнечным блескам;

хвоинка их — невероятных размеров; претонкая, точно игла; и пряма, точно стрелочка, кончиком — искру бросающая; и от этого вся сосна — вспых: блеск и трепет; мурлыкает светами в воздухе, точно пушистая кошка; в местах, где нет солнца — стеление зеленобархатных пятен; сосна — в кругах пятен, как в яблоках, на голубеньем серебряном солищем охваченной ткани, одевшей ее в канитель золотых и серебряных нитей; зазЫбилась веткой в изнеженном воздухе; каждая ветка — пушистый тычок; и кончается, точно под небо подставленной шишечкой.

Стали, раскрыв свои рты, пред японской красавицей; и — позабыли: стоим то — на солнце: напек! Здесь нельзя безнаказанно лбы поднимать под огнем; и мой спутник, накинув, что можно на лоб, испугавшись, — от сосен бежал; заметались в бестенных лужайках, пока не попали под тень Калифорнии; и пережженные солнцем, единственным солнечным днем, верней — солнечным часом, вернулись к себе.

А в награду до вечера — вялость, какая-то грусть, даже злость, злость спинная (напек!); полузясь, полу в шутку, развил свою чушь.

Есть спинной человек; он — сидит в позвоночнике; он — грубиян и дикарь невоспитанный; пока в себе мы, он — тих; он — моторные функции: правит конечностями; у него нет и мыслей: вполне подчинен головным нашим центрам; ослабни они (как сегодня ослабли они у меня от напека), — спинной человек, отворивши в спине, будто форточку, высунувши претупое гиббонье лицо, сметь имеет сужденья: оспаривает наши центры в мозгу; и влечет нас к поступкам, вполне неожиданным; так вот: затыбкал спинной человек из меня: „Ам — гам-гам!“ Как собачка шакал, постоянно гласящий под окнами: „Кууу-шаты!“ Его вопрошаю: чем не накормил я тебя? Стало

ясно, что не накормил я его... камушками; ему камушек бросишь, утащит его, как собака, — об'едки; и камушек к камушку: странный орнамент слагает, пока себе спит мозговой, рассуждающий центр.

Человечек мой радуется, веселится подброшенной пище, валя на карачки меня, чтобы ползал по пляжу; тогда — он доволен: почесывается орнаментами — в конуре: в спинных центрах своих: мозг же — спит!

Но проходит напек; мысль — меняется, как и погода, которая тоже — меняется; завтра, с утра, можно будет наползаться вволю на пляже, над странной охотой, которая пуше неволи; прерадостно нюхаю воздух; и после подробнейшей лекции Д. И. Ростовцева мне о цветах, мы мечтаем о море, о пляже, о дальних прогулках: на Чорох.

Одно неприятно: опять чудеса в гравировке рельефов хребта снегового; он весь — на ладони; все море — стеклянное; а над стеклом, разрезаемым иглами света, — градация белых вершин верст за двести отсюда, открытая нам верст на двести, не менее; вот и янтарными стали снега; одеваются дымкой лиловой; светло лиловеют; и — нет лиловения: думают дымчато-серым рельефою в зарю; и они так легки, как сложения дыма; они просинели внезапно, открыв нам рельефы и ярусы; и — цепь над цепью — стоят отделенно, пространство явив меж собой (а казались на плоскости); но — исчезает пространство; хребет — сине-черная тушь; и над тушью, как бы за хребтом, еще выше — отдельная лилово-красная плоскость горящего снега; в „Путеводителе“ сказано, что и вершины Сванетии видны отсюда.

Нет солнышка: сгнуло за-морем; вместо него, — три руки световые спустились в воздух над морем; из воздуха — в море — бросают оттенков дары; над хребтом

поднимается что-то неясное, бело-лиловое, над уже черной, как уголь, полоскою тьмы (это горы); по морю — от юга на север — оттенки: серебряные, янтареющие, рдяно-розовые, фиолетово-синие, синие, черные.

Цихис-Дзири. 5 мая. Ночь.

Так и есть; проывает насквозь; дождик — хлещет; и башня, под вой ураганного ветра, — кувырк! Вместе с ней полетим вверх тормашками; охает, хлопает, грохает в скалы камнями море, как будто стохоботный слон водяной раструбился на нас.

Мой „спинной человек“ оказался обычной реакцией организации на допотопные климаты.

Цихис-Дзири. 10-го мая.

Я отмечаю себе: наблюдаю Аджарию, но... не... Батум; Батум, город Батум, о котором так пишется много, что он процветает, в сознании моем не процвел; раза три я в нем был; очень стыдно признаться, что был ранним утром, и что улепетывал уже с одиннадцатичасовым, еле-еле ползущим, набитым аджарцами, поездом; знаю в Батуме турецкий базар; в прочих улицах — путаюсь; знаю бульвар, знаменитый, обсаженный пальмами: с видом на горы; у берега он; перед ним — крытый галькою пляж; сбоку — порт; говорят, что здесь жизнь бьет ключом; пробегают французы; идут долговязые, очень изящно одетые — кажется, шведы — кто их разберет. На бульваре сидели: и ждали, когда магазины откроются; очень красива узорная линия вдаль — побережий; Зеленый Мыс; коли назад повернешься, — над домиками Кахаберский кряж, горы Аджарские, снег.

Не удивишь нас батумскими прелестями; пальмы в городе — серые; в нашем саду — настоящие; здесь — оловянные...

Домики—одноэтажные, каменные, светлых колеров, но — неуютного вида: бесвкусие. Улицы — скучно прямые, казенные, напоминают „р я д ы“; на один они лад; и их свойство: ты в них затеряешься; прячут те именно лавки, в которых нуждаешься; множество малых кофеенок; утром — пустуют; базар переполнен; Батум — еще спит; говорят, что здесь вечером — толпы; не верится мне, чтоб ключи этой жизни вполне были чистые; прошлое еще не изжито здесь.

Пятьдесят лет назад — деревушка, Батум вырос в важный коммерческий пункт; до войны переполнен был шулером, контрабандистом, дельцом, проституткою; преобладающий здесь элемент населения — греки, грузины, гурийцы и турки; встречаются персы; везде очень много контор пароходных и агентств; дымят пароходы—советские и иностранные, полные нефти; конечная станция длинной железнодорожной артерии, перерезающей край от востока на запад (Баку-Батум — через Тифлис), эта местность — имеет блестящую будущность; мимо нас — утром и вечером мчатся десятки цистерн с керосином и нефтью; пустые, они улетают обратно в Баку, чтобы там переполнившись, снова летать мимо нас; то-и-дело читаешь в газетах: пришел пароход из такой-то страны; вывоз нефти растет; растет спрос; растет цифра сюда забегающих чудищ: двухтрубных, трехтрубных; правительство делает все, чтобы маятник жизни размахом превысил размах довоенный. Все — так; но, приехавши не для статистики экономических преуспеваний и прочих успехов Аджарии — только для отдыха, нет вдохновенья в Батуме торчать: дышешь здесь не то грязью, не то — духотой: с коксом, с нефтью; и, кроме того: малярия — пошаливает; в Цихис-Дзири — живешь на высотах.

Читая газеты внимательно, я удивляюсь энергии строящихся жизнь: всюду — труд проведения дорог и шоссе, всюду — ширится сеть просвещения, проекты, прокладки, взрыв бытов; вчера неприступные местности, — стали проходими; электрификация забирается в недра страны; говорят: будет мощная станция здесь, как отстраиваемый Рионгэс, как Загэс, уже конченный; все это явно относится к преобразенью Аджаристана скорее, чем к городу, хотя и он обростает заводами и учреждениями.

Сам Батум вовсе не нравится; власть, говорят, люто борется с традиционной здесь контрабандою; привкус „афер“, или вернее пропахлость „аферами“, должен сказать, — зашибает в Батуме нам в нос; от Тифлиса нам стали подмигивать: „А вы в Батум? Вы, конечно же, там призапасетесь костюмом, ботинками: великолепный английский товар; а цена, — баснословно дешевая!“ Мы с идиотской наивностью слушали, не понимая, в чем соль этих явных подмигов; но вот нам открылась пленительность жизни Батума: „Да контрабанда же!“ И удивлялись, что мы не пленяемся счастьем трусить в закоулках с оглядкой, ища „настоящих английских материй.“

Но я не люблю темных дел мастеров; и заранее я на рай, нам сулимые, хмурился: пусть они бьют из батумских трущебец фонтаном материй; материи эти — не нам; но никак я не мог ожидать, что придется таки стать в положение странное, даже обидное: либо остаться совсем без „штанов“ либо быть облеченным в английское великолепное платье, — едва ли не даром; все было — так просто; поехали мы из Москвы налегке; у меня принадлежности летней, вульгарно „штанами“ (простите меня) именуемой, — не было; я простодушно подумал, что едем мы в город, где можно всегда принадлежностью

„сей“ завестись; но, обегав Батум, я пришел к убеждению: „сей“ принадлежности — нет; из Батума исчезла она, как исчезли в Батуме все „карты Кавказа“, мне нужные для обсуждения экскурсий; весьма энергичный грузин с угрожающей мрачностью, с дикой решимостью, с блеском в глазах, почти крикнул: „Не будет вам карт!“ — „Как, нет карты Аджарии — в центре Аджарской столицы?“ — „Нет карты Аджарии!“ — „Что ж у вас есть?“ — „Все, что надо!“ И я увидел: это „надо“ относится к ряду московских журналов а ля „Смехачи“; они — „надо“; а карта Аджарии для сюда едущих из всех концов „СССР“ есть „нэ надо“.

Я выскочил из магазина — в сердцах на грузина: и мрачный грузин продолжал угрожать из окна мне: „Нэ надо!“

Но ярость моя возникла на почве „штанов“; „штанов“ тоже — „нэ надо“ в Батуме: факт, мною испытанный; я положился на факт несомненный (в Батуме, как всюду, гуляют в „штанах“); вижу — сделал великую глупость.

Тогда я с удвоенной храбростью стал добиваться „штанов“; тут мне стали подмигивать: „Можно-де: если хотите — сведу вас; хорошие очень; близехонько: только свернемте-ка — за угол“.

Понял: „штаны“, мне сулимые, есть контрабанда; отсутствие всюду легальных штанов — об'являлось: зачем они, коль нелегальные, — есть; предложение гнусных услуг я отверг, хлопнув дверью лавчонки.

• Да, — не повезло мне в Батуме!

Я стал с подозрением вглядываться на отвсюду шнырявших субъектов: в чалмах и без чалм; очень многие мне показались двусмысленными; так охота болтаться в Батуме сменилась решением: сюда ни ногой!

Стоит только проехать пять верст от Батума, как ты растворен в панорамах: романтика невероятная! То поезд сдвинут утесами к самому морю; и кажется: бирюзоватые струи протянуты чуть ли не к рельсам; то поезд высоко несется; утесы, раздвинувшись, не преграждают размаха ландшафтов, заостренных гребнями и углубленных ущельями; густо косматые кучи зеленые, — вовсе не виллы: направо, сбежавшиеся к побережью плоскому: Махинджаури! Но если бы освободить эти виллы от кучи их прячущей зелени, каждая выявила б очень часто изящный, всегда прихотливый свой стиль: загогулины и завилонь орнамента; бывшие дачевладельцы, утонченная буржуазия, аристократы, старались друг перед другом весьма щегольнуть; и чего-чего тут не настроили: очень со вкусом; но качество вкуса, но марка его в Цихис-Дзири рекорд побивает; здесь дачи — игрушечки; заросли, их обстающие, часто — макет артистический: в выборе флор, даже в самом подборе оттенков, сказалась натура владельца; этот, обставив верх дикой горы, чернозрачными кедром, в кедром свои усадил сарацинское здание; этот составил аллею себе из контрастов игры кипариса и пальмы; копь кипариса, за ним — веер пальмы; опять — кипарис, опять — пальма; протянуты тонкие, четкие, черные пики вершин меж разлапых раскидов: красиво! Аллея такая, ведущая к спрятанной вилле, зеленой игрою зубрит верх пурпурово-красной горбины, и снизу, глядя на тот верх, начинаешь дивиться кокетливой выдумке: точно сады Черномора — висят там; и точно окрестность — огромный макет к постановке балета Дидло.

Между Чаквою и Цихис-Дзири дорога прижата темнейшей семьею утесов к стремительной срывине, — вниз; коли выскочить тут, наклоняясь над срывиной, — видишь едва ли не тридцатисаженную круть или — перпендикуляры

стены; вот растрески ее с проторчавшими к морю утесами; дребезги силой упада откуда то сверху разбитых утесов размерами — с дом; из них многие — в море; а волны — расхлестываются меж ними; средь хлеста, на камне, живет себе чайка; коль встать на одну из тех выторчин, — видишь не зелень над скалами гор, увенчавшихся виллами; горы — отрезаны скалами; а поезда — мчатся выше; здесь видишь на два километра разгромы камней, и разбросы утесов, как сорванных злобой с отвеса; и — бой, вечный бой, беспощадный, стоит; великан, охранявший руно по преданию античного мифа, — стоял здесь; утесом; его уронили столетия; они уронят все, все что стоит.

Это — мир цихис-дзирского пляжа; а вот и платформа: какая же! Декоративный макет! Чудно чисто и чудно уютно: не станция — клуб; и духан; весь в глициниях, пахнувший не то духами, не то кахетинским; бамбуковые всюду лавочки; вечером громко горланятся песни; с платформы — тропа ведет кверху, срезающему виды моря; шагах в полтораста — прекраснейший садик, цветущий азалией, иль олеандром, иль — чем? От него всходы к вилле: арабо-готической: „Castellamare“; пред самой войною какая то американская фирма хотела отстроить курорт первокласный; здесь именно: мимо Батума у „Castellamare“ должны были стимеры перевозить миллиардеров, сплином страдающих: в эти места; планы — рухнули; перерождение края иначе свершается; но этот пункт, еще ныне пустующий — великолепен; когда ни придешь — ни души; мы одни — на тычке, над расхлопами волн, над борьбой с исполинами их; и твердится мне здесь:

Отступи, как прибой, все пустое дневное волнение,
Одиночество встань, точно месяц над часом моим.

Подо мной,— грохотали камни; и чайка кричала из яркозеленых расплесков, прихотлившись к камню; внизу— черно-серо, отвесно; над нами, вздыбаясь, черно-серое ж „Castellamare“; ее одинокие стены над морем янтарного золота; с трещины, не доставая до ног,— взлопотавший бананник протянут; а кончик, еще недоплавленный, плавится там из-за моря жидчайшим мостом золотым: золотой торчок солнца за водами — остановился, не хочет расплавиться; будет торчать; нет его: только золото стало — багряным вином. И твердится мне:

Встали груди утесов
Из трепещущей солнечной ткани!
Солнце село. Рыданий
Полон крик...—

— Детский стих, „Аргонавты“ („искатели новых путей“), четверть века назад мной написанный, лозунгом был; был кружок „Аргонавтов“, еще молодых символистов; мы верили, что аргонавты причалят в страну „Золотого Руна“; двадцать лет плыли мы по идейным течениям, вдоль островов, очень многих редакций, нигде не задерживаясь, потому что мы плыли вперед и не верили в тихие пристани; но не приплыли, рассеялись к пристаням; я же — приплыл; мы — приплыли, мой спутник и я,— в страну древнюю, в пламенную Колхиду; руна мы не ищем; „руно“ — знак всего обновленного мира; но странно, в потопной стране, я нашел свой ландшафт.

Наш Арго, наш Арго,
Готовясь лететь,
Золотыми крылами забил.

Боевой тон стихов этих весь проплетен неизбывною грустью; и грусть неизбывная — здесь: на торчке; хоть

„лазури“ здесь много и „золота“; те же утесы, привставшие над трепетанием солнечной ткани: на водах.

Меркнет отблеск червонца,
И светочи дня...
Но везде вместо солнца—
Ослепительный пурпур огня.

Это—пурпур утесов, взлетевших над нами; там, там: яркокрасная выторчина из темнеющей зелени меркнет—зловеще и грустно.

Коли бросишь взгляд под ноги—узенький пляж всего в несколько метров: каемкою тянется он под стеною утесов; в него бьет разгон всекипящего моря: от Константинополя; а поправей—уходящая линия Турции; там—Трапезунд; на полоске у стен, под расхлопом волн, водимся утром; но вместо руна золотого мы ищем хороших камушков; они—дороже руна; их орнамент открыл перспективу серьезных исканий; „Вперед, поворачивай Арго“.

Колхида,— лишь вежа.

.....
Отсюда домой утекаем по рельсам в сплошных листопадах—с обрывины; вот „Дома Отдыха“, тропка: уют для политкаторжан ЗССР, вилла смежная с нашею,—розовая, изошренно одетая в кружево пальм и в зубцы кипарисов; а вот—и ущелье, в которое круто сворачиваем; сверху бьет водопад; внизу—зелень ветвей (толщиною с бревно), из которых, подними,—глубоко внизу—отбежавшее море; налево—развалины крепости; здесь обитает шакал; под ногами работает малая мельница; свергнуться с тропки—легко.

„Цихис-Дзири“—название грузинское: „Сильная Крепость“. Вся местность при турках была—неприступный рой фортов. Десятки холмов, отделенные сетью ложин,

отбивали атаки войск наших во время турецкой кампании; грудой холмов, с Кобулет подползает долина Книтришская, славная древними бьями греков и персов, воинственных римлян, парфян; после — бьями толпищ монголов и турок с грузинами; здешний аджарец, — грузин покоренный, в ислам перешедший.

Не скажешь, чтоб эта вполне безопасная местность (о, здесь безопаснее, чем в Подмосковной) когда-то была жуткой местностью; еще вчера здесь гуляла кровавая месть; пуля меткая русских сражала — вот там: за горами; теперь это — миф; и аджарец, и турок братаются мирно с гурийцем, с грузином и с русскими; а курды, резак армян, точно тихие овцы, смиряют: в работниках.

Вот и ущелье осилено: наша дорога — шоссе на Батум; к ней спустились подножия очень высоких холмов; и вершин их не видишь; на них — стоят дачи; заборов здесь нет; лишь калитки: вот „дача Ростовцевой“ — надпись; крутые ступеньки — наверх; с каждым шагом ширеет окрестность; уже холоднеет; вступаете в сад апельсиновый, аллея, взбираясь, ведет к белой вилле, с косматой верандой (от листьев косматой) в круг пальм, лавровишней, павлоний, драцен; выше — ярусы вышележащих холмов — красногрудных, коричневых, охровых; выше — аджарские горы; снег сходит с них...

Дома!

Цихис-Дзири. 11 мая.

Опять натянуло: кропит; пишут — под Эриванью все залито; ряд наводнений; промозглость, туман; и ревун, а не ветер; ночами — сирена; шакал похочатывает...

Цихис-Дзири. 12 мая.

Трещит печь; я скриплю на диванчике; климат третьей эпохи шлет сны; снилось: спутник зовет в Орен-

бург; сели ехать: в пролетку; и вдруг оказались в гостях: у Елены Давыдовны Гогоберидзе, где, после ночевки, поспорили с Форш, Ольгой Форш, у которой шакал разорвал основательно юбки; Форш требует, чтоб ей вернули каблук, ею потерянный в Кучине; был такой факт: Ольга Дмитриевна, захромавши в полях подмосковных, кричала и тыкала в воздух свой зонтик; кричала она — на меня; я — кричал на нее; мы — кричали; но мирно простились; теперь она, снувшись в сон, с меня требует в Кучине сброшенный ею каблук (через 2 уже года); меня обвиняет; отъел-де с досады каблук; между тем, уже лошади ждут в Оренбург; это значит: пора читать лекцию, но на — трапедии (вместо трибуны); конспект лекционный потерян; ищу — обнаруживается: ищу то — штаны (да, те самые, в коих Батум отказал мне); штаны же, в которых я, — драные; в них — ни прочесть, ни доехать мне до Оренбурга; поездка и чтение — суть то же самое; думаю, сколько придется отчитывать верст, заверстив силлогизмами.

Сонная логика: я, как естественник, пробую все изучать ее фикции: утилизировать; многое мною сознательно строится в принципах сна (у снов есть свои „принципы“); сон есть предмет зарисовки, как всякий предмет; если б критики поняли это, они перестали б гвоздырить, что „мистик“-де; поняли б, я — зарисовщик весьма интересного мира, имеющего свою логику, скошенную, протекающую с нашей логикой под углом эдак градусов в сорок, где чувшь бессознания организуема нашей же логикой; где наша логика, в сон вовлекаясь, косится; наука о „скосе“, попытка его мимикрировать — опыт весьма интересный, хотя б потому, что фантастика первых младенческих миггов дана в этом скосе и взрослому: логика, не отделенная от раздражения и ощущения органов; критикам, меня

ругающим, нужно бы все же понять: есть проблема младенчества; чтоб понимать жизнь младенцев вполне, надо трезво исследовать логику собственных снов; надо знать, например, что младенец не ведаёт вовсе различий меж миром метафор и фактом; скажите ему: „Упал в обморок“, — ему почудится: выпала плитка паркетного пола; и в эту дыру кто-то — пал; вот мораль: осторожней с младенцами в выборе метафорических образов; скажете: „Ножницы цифр“, — он подумает: ножницы — для разрезания цифр.

Весь мой „Котик Летаев“ — прием; в нем показано, как разыгралась метафора в мире ребенка; „Чудак“, за которого так достается мне крепко, — прием: показать, что получится, если мы будем в себе культивировать сон на яву; обе книги — написаны для аналитика; не мне судить, что в них — искусство; но — мне судить: тот материал, на котором я строю прием и сюжет, мною пройден, изучен; зарисовка кривых нашей логики; верю — писатель плохой я, вполне бесталанный; ручаюсь: реалистических я даю ряд срисовок в той сфере, в которой доселе конкретно так мало работали; сну говорю, как и Пушкин:

Я понять тебя хочу:
Темный твой язык учу.

Несомненно: дневное сознание в миги пробуда нам скашивает содержание снов; что-то выпало в воспоминании сна; его стержень всегда — музыкальная тема; а образы — после пробуда встают; то — концовки к утраченному содержанию; утрата свершается в миг пробуждения: что-то как бы засыпает песочком цветистые яркости, перелазая в обратном порядке сюжетную фабулу сна: вас толкнули, будя; а толчок пробуждения перерождает всю

тему; и кажется: тема построена так, что к толчку ведут перипетии увиденного; до толчка вы-де ждали, что вот — толчок будет: разбойник-де; он застучал, стучал долго, сломал дверь-де, вас опрокинул толчком (тут—проснулись); в действительности пережития сонного было — иначе; как было,—забыли; в момент пробуждения—перелицовка всех фабул; и то, что о сне, вы припомнили, — фикция: происходило — не то.

Это опытно можно проверить; внушив себе пред засыпанием, что ты заснешь, но во сне подглядишь свою абракадабру. Я в детстве себе то внушил, потому что кошмары душили меня; и усилием воли достиг одно время умения вспомнить в миг сонного бреда, что надо во сне протирать глаза крепко, чтоб вынырнуть в явь; появляется сгусток сознания дневного — во сне; с ним в течение жизни проделал ряды интереснейших опытов, мне послуживших впоследствии к оформлению логики сна, к проплетению логикой этой и яви; умею, где нужно, создать впечатление: все будто явь; яви ж — нет; и обратно: момент фантастический трезво умею продрнуть физиологическою подоплекою; фабулу сна деформируют миги пробуда; та фабула всегда — метафора, в ее реальность не веришь во сне; исполняешь ее, как конструктор актер; а пробуд убивает символику: абракадабра от сна остается, с которой не знаешь, что делать; знак равенства между конспектом и драной штаниной моею во сне — наложение штампа дневного сознания; мысль о раздраженных штанах — результат неудачи в Батуме; „конспект“ — но вот папка с конспектами: передо мною; она появилась теперь в дни ненастья; знак равенства — моя забота: 1) работать бы надо, 2) штаны бы купить; тема подлинная, но утраченная в миг пробуда, есть жизнь путешествия иль — перманентная тема всех снов моих; нет — вы

представьте: рой снов я припомнил — во сне же, полгода назад; пред пробудом мне вспомнился ряд путешествий моих: как причалил к Бомбею я, как я попал неожиданно в Иерусалим, оказавшийся вовсе не в Сирии, — за Гибралтаром; припомнилась долгая жизнь моя где-то в Германии с серией перипетий, интереснейших и с возвращением в Москву чрез Норвегию (мог бы записывать перипетии той жизни я, жизни не бывшей; и вышел бы томик); мне — вспомнилось (пред пробуждением во сне): этот сон видел я в восемнадцатом, этот в двадцатом году, этот видел в семнадцатом; жил я в Москве, в своих снах путешествуя; каждый сон помнил лишь миг, между снами, — в ночь виденья; утром же, вставши — не помнил; и не вспоминал — в ряде лет; только в двадцать шестом году, не на яву, а во сне, я припомнил, связал прелогично в картину отчетливых странствий — все сны; вспомнив это, — проснулся я с чувством, что в виденном сне я 1) припомнил рой снов, 2) я привел их в порядок, 3) я их интересно связал в „Путевые заметки“, которые мог бы сейчас написать, ничего не примыслив для красного слова.

Сидим на диванчике с моим уютнейшим спутником, и говорим о курьезнейшей логике снов; тут становится ясным: каблук Ольги Форш (этот — что: мне однажды во сне подавали сплошной подбородок знакомой, сказавши, что это арбуз), — каблук Форш и конспект из штанов — „скос“, и „штамп“ нашей яви — в пробуде; действительность сна, унырнувшая (ее не вспомнишь) есть следование в Оренбург; оно — новая главка того же романа, написанного мною в снах; может быть, через год, эдак снова во сне, мне припомнится, что видел я — в Цихис-Дзири.

За мною и в яви порою протянут хвост даже не припоминания снов, мной забытых, а вспышки сознания,

вполне беспредметные: что то увидено было; они высекаются словом незначащим средь разговора обычного.

— Дайте мне перцу.

Вдруг — вспых; будто молния в мозгу: „Было — видно“...

— Что?

Позабыл: авось вспомню... во сне...

— Вот вам перец.

И ткань разговора вполне восстановлена.

Есть у меня другой сон, перманентный; раз пять в год — приснится; от 1903 года — доньне; я вижу: мы думали — умер отец; он же жив был: уехал себе на Кавказ, свою родину; жил близ Душета; и вдруг — воротился; живет теперь там, где и умер (живет на Арбате, близ Денежного); а мы с мамой давно — на Пречистенке, в доме зеленом, который я знаю (угольный дом); когда иду этим местом, увидевши домик, себе говорю на яву: „Тут живем“. И сейчас же себя обрываю: во сне; в этом доме зеленом я не был; по сну знаю расположение комнат сюда, через Денежный, ходит отец мой: обедать у нас; я отсюда его провожаю до дома; целуюсь с ним; ясно, что плохо ему, что теперь он умрет в самом деле; всегда та же мысль появляется: как могли верить тогда, что он умер, как мог он, живя близ Душета, нас не известить о своем бытии.

Вероятно отъезд на Кавказ — транспланация памяти в сон: перед кончиной отца мы должны были ехать вдвоем на Кавказ; наша жизнь на Пречистенке с матерью — реминисценция детства: рассказы ее, как жила на Пречистенке девочкой.

.....
Странствую в снах: очень странствовать хочется; манит Кавказ; но он — непроходим: всюду ливни; в горах —

идет снег; а в долинах — затопы; милейшая наша хозяйка, печально качающая головою на нас, О. А. Р., нас утешила: ей старожил этих мест говорил: „Сорок лет здесь живу, а такого не видывал. Не понимаю, что стало с природою“.

Я — понимаю: приехали мы, чтоб погреться; само собой: надо наддать холодов; мне — везет; я когда-то приехал в Сицилию, — грянул морозище; и сицилийцы ворчали: „Такого — не видывали“. Приехал в Тувисию; мерз еще месяц в ней; едва погревшись в Каире, — замерз в Палестине; и там утешали: „Такого — не видывали“. Но по мере того, как на север я двигался, — явно теплело; так в Константинополе было теплее, чем в Сирии и Палестине; в Одессе теплее, чем в Константинополе; в Киеве — жар был; в Москве же — жарища; мне помнится Гарцбург; над Брокеном месяц висела зловещая туча; там небо, „небоидом“ ставши, проплакало месяц; оно прояснилось в тот день, когда я уезжал, чтобы жарить жарою тропической бурога неба Берлина.

Во мне впечатленье от Турции: эта страна приблизительно есть Эскимосия (это мой опыт турецкий); когда я был в Турции, в Сирии снег выпадал; и теперь: награждает она южным ветром холодным; он — тот же: тяжелые массы тумана несет; иногда из тумана торчат гребни гор; и тогда мы любимся зрелищем: тучи космато ползут на равнинах, прилипли к земле.

Там звенит малярийный комар, так что вниз — не спускаемся.

Хоть бы подвигаться: оцепенел я; движения сводятся только к чесанию кончика носа.

Я нос наставляю на флору и фауну; фауна — хохот шакалий, Авдей (пес), корова, с которой раскланиваюсь, от которой сегодня большой удостоился чести: ей шею

чесал; флора — долго исследовал пальмы; потом — родо-дендры; агавы теперь привлекают внимание, — агавы, погибшие этой зимою под снегом (факт странный, как все, что творится в природе), пока криптомерия мне не открыла иных горизонтов.

Хотел изучать этнографию края (конспекты поездок лежат на столе, но свершить — невозможно их); этнографический пояс исследований из-за этих дождей — есть тычок: нашей дачи; на нем — милый Ваня, грузин, волочущий крупнейший нам самовар; Ваня вырос здесь: Ваня рассказывает интересные вещи; другой житель края — аджарский пастух (с ним беседовал некогда) ныне отрезан туманом; остался лишь курд, вылезавший из-за тумана: к хозяину; да, но — жди курда; он — спрятался.

Я, со всем пылом моим к изучению быта, с конспектом поездок, — иду путешествовать... в сны; и я в яви (реакция верно на климат) являю нелепую смесь: Деларю с Собакевичем; на ноги я наступаю со злости... Авдею; и как Деларю, — тот, который расшаркивается, когда его тычут кинжалом, — как и Деларю я расшаркиваюсь пред „зефириком“, дующим денно и ночно:

— Ах, благодарю вас, я — не ожидал.

А „зефирик“ — ревет и пытит, и бабацает дверью и ставнями.

Цихис-Дзири. 13 мая.

Да, обывательское представление „климат“ утоплено; нынче с утра был умеренный климат; с двенадцати — туч натянуло; стал климат — полярным; в час — сеялся маленький дождь, означающий всюду: „надолго“. Ушел я от дождика в сон, — спутник будит: „Вставайте-ка — солнце“. Встаю, и — ни облачка; жарит, но из безоблачья — капает; бросились к морю — так жарко, что, встав за утес, начал

сбрасывать все: пообветаться; тропики скрылись мгновенно; когда возвращались, то кутались в теплое (тащим на пляж багажи).

Мне Д. И. раз'яснил, что аджарцы вопрос разрешили; и лето, и зиму, и осень, и весну гуляют: в теплейших носках, в башлыке; создают под одеждою собственный климат; весьма остроумно, но — тягостно; я побежал облекаться... в аджарский костюм; щегольнуть перед знойно-испанскими „дамами“: так называю я лилии нашего сада, — не бледные девушки: ярко багряного цвета, огромные, знойные, вдруг распустились они под свинцовое небо.

Живешь в климатической дичи; и чувствуешь, как на ходулях: приподнято; то проклинаешь Батум, то поешь панегирик — разбойному морю; палермская бухта прекрасна; она — миньятюрна; величественен залив нежный Неаполя; больше — тунисский; а здесь, в Цихис-Дзирн, в прозрачные дни лишь становится ясным, что это — гигантская бухта: вот там — горы Потн; а там — лиловеющие, подснежные Анатолийские горы.

Пока эти строки писал — небо сбросило тучи к веранде; дождь завтра; и — значит: не будет его (все — навыворот); коли навыворот, — значит: таки будет дождь; человек при Батуме — зависимая переменная климата; нервные люди, — не ездите в мае сюда: в сентябре, в октябре; в мае тут не природа — конструкция; в водное царство, наверное, посланы водопроводчики: трубы поставить; поставили: вместе с негодными кранами, напоминающими мне московские краны; вода отвратительно брызжет из них мимо рук (обливая и ноги, и грудь); из них — капает; ставишь пред кранами тазики, — вскакивая по ночам, чтоб из них вылить воду (а то будет — Ноев потоп). Впрочем — пишут: из Крыма, Сибири, Москвы, Эри-

вани: „Дождь — льет, угрожает залить, уже залило“. С солнцем — неладности: электротехник, приставивши лесенку к солнцу, наверное лазил: чинить освещение: не солнце — пятно.

Эти строки пишу под весьма угрожающий шквал: налетает! Ревенья такого не выдумать; пальма, прилипши к окошку зеленою лапой, шипит: „Ссс... Тсс...“ Башенка охает и кувыркается: над головою; в нее не пойду, — ни за что я.

Окончится „это“ — мгновенно; все — поезд курьерский на маленькой станции: остановился, свисток, — нет: на рельсах его огонек улетает.

Здесь — точка.

.

Не точка.

Едва дописал — шквал упал: тишина; небо — чистое из-за горы — вылезает луна.

Из открытой веранды запахло теплицею пряною.

Цихис-Дзири. 14 мая.

Радует — вот что: я месяц живу здесь: и не удалось мне подметить вражды национальной, иль религиозной меж местными группами; турки, грузины, гурийцы и русские мирно настроены; верю своим впечатленьям; я всюду с собою таскаю кодак; он защелкивает моментальные снимки с движений, поз, мин, укрывающих часто слова неудобопроизносимые, но создающие явственную атмосферу вокруг помыслов; шила в мешке утаить невозможно; и шило — инстинкты звериные, под часто прибранной внешностью; шило снимает кодак, — наблюдательность, ставшая просто инстинктом писательским; очень рассеянный по отношению к поверхностной жизни, я зорко вперяюся в шило: ошупываю подсознание; вид

мой рассеянный—форма, в которой текут диагнозы; для них и не надо беседовать; мой диагноз протекает мгновенно: уколы „таимого шила в мешке“ ощущаю на улице, в поезде я.

Но таимого „шила“ в Аджарии — нет: нетерпимости, религиозной вражды, или резкого трения групп национальных; лишь привкусы „национализма“, которые — сгусток столетий; они принимают вполне безобидную форму теперь; впечатление крепнет, что Аджаристан — есть вполне своеобразное целое, — так для аджарца; но поговорите с грузином тифлисским, у вас впечатление будет иное: „Аджария — Грузия; все, что ее образует — наследство грузин; турки суть пришельцы, заселившие некогда эти места каторжанами; турки — ничто.

Мнений турок — не знаю.

Но знаю, что разности мнений есть рябь, не ведущая к всклоке; тенденции братства вполне перевешивают национальную рознь, раздиравшую прежний Кавказ. Вспомним годы недавние: в вечной резне проходили они; эти — „рэзалы“; „рэзалы“ — те; теперь — „рэзать“ не будут; таимое „шило“, которого нет, есть возможность резни и погрома.

Под нами семейство аджарское строит духан; рано с гор опускается ком добродушно свирепого вида, одетый, как турок: во все национальное; плечи — сажень; кулачищи — пуды; с головою обмотанной, в пестрых лоскутках своих, он — вполне романтичен: свирепость бороды, пречернейшей, и глаз пречернейших; едва ли — не нож; то глава многих внуков, почтеннейший дед; он спускается с гор внукам строить духан; и — работает ожесточенно; резня вокруг него — красных щепок; мне ясно, что в молодости несомненно он „рэзал“ кого-нибудь, как полагалось традицией; ныне же „рэжет“ — чинары; нарежется —

и упадает на коврик, при всех совершая намаз; сколько раз, проходя по дороге, его настигал я в молитве; и он на меня — нуль внимания; молится ль, режется ль, в горы бредет ли, зарей освещенный,—один; я следил с удивлением, как быстро построил духан; и—ушел в свои горы; тогда появились внуки,—девицы и бледные юноши с интеллигентными лицами—с лавками, пряниками, лавашом, папиросами; эти — советские; и среди них, с ними друг, милицейский, аджарский, с желтейшим околышем; строились детям качели; и к вечеру кучки сбегались сюда: турки, русские, греки, грузины: вино распивать и закусывать; „шил“ нет во взорах: вполне дружелюбие; весь пыл „рэзны“ — в старом деде, разбойнике, может быть, но обезвреженном тем, что и пыл вырезания в нем — трудовым пылом стал: сколько он перерезал... чинар.

Но в условиях прежнего строя мог резать вполне „христианских собак“.

Ни разбоев, ни краж: можно жить без запоров; пошаливали, говорили мне, близ Кобулет; с шалунами давно кобулетцы расправились; был в Кобулетах: там трудолюбиво стреляют в поставленные перед морем мишени; но то — упражнения в самозащите Аджарии от угрожающих ей нападений извне; та стрельба — в целях мира.

Я слышал не раз, что грузины, поднявши носы, теснят русских: не знаю, не видел; кодак мой, отчетливо щелкавший, не проявил черт грузинского „национализма“; грузинский народ мне остался прекрасным: живым, с громким будущим, соединяющим древнюю очень культуру (о, более древнюю, нежели наша); и я оскорбляюсь на мелкую пошлость доселе еще циркулирующих анекдотов, в которых осмеяны „люди восточные“; многому нам у грузин поучиться бы: такту, сердечности, выдержке,

соединенной с действительным, а не смешным прямодушием; когда говорят мне о национализме грузин, я не слушаю; „русское“ „шило“ таимое — чувствую; это припрятанный рог: настоящего „русского зубра“; грузинских „рогов“ я не видел; я видел другие рога, из которых, согласно обычаю древнему, пьют дружелюбно, братаясь вином и беседую.

К русским грузины относятся очень любезно; чрез наше искусство, через Пушкина, Врубеля, Лермонтова, мы уже — в побратимстве; кто любит их, — Грузию любит; кто Грузию любит — того грузин чувствует; кроме того: грузин знает, что „ЗССР“ есть курорт „СССР“; и что в будущем преуспевание края, богатство его, тесно связано с крепнущим братством народов.

И слыша о том, что грузины теснят нас, я думаю: „Нечего, брат мой, пенять, коли рожа крива у тебя“.

Нет, Аджария — успокоительна: „шила“ в ней — нет, но есть сдвиг; и — решительный; вчитываясь в сообщения газет, удивлялся не раз пожеланиям местных, глухих, исполкомов: расширить сеть школ, провести ряд дорог, эксплуатировать то-то и то-то, электрифицировать, — вот пожелания.

Декоративный Кавказ исчезает: встает Кавказ с будущим.

Цихис-Дзири. 15 мая.

Как из ведра: хлещут хляби; и облачный ком проплывает на уровне — нашей веранды.

Все мне сочталось в камнях, нами собранных: быт и природа; камнями завалены: стол и диван; глаз наметан до слез на оттенках; оттенки же, — вот где учиться художнику; на полотне ведь нет красок, которые быют из сложения камушков пляжа, из мхов и из листиков; два

уже года я — спец сухих листиков; мне изученье оттенков сказалось в огромнейшем сдвиге; оно принесло столь же пользы, сколь некогда пристальное изучение полотен музейных; в оттенке листа земляничного есть Рафаэль, есть Иванов; в оттенках боярышника засыхающего — есть Грюневальд; вишня сохнущая — Тинторетто; в отборе листов, при сложенье отборов, — раздвинута палитра; я убежден — вся история живописи, изучаемая в колорите, — часть палитры этой: ничтожная часть; я давно собирался прочесть специальный доклад с демонстрацией листиков, с планом, как надо в ребятах глаза развивать, подготавливая к восприятию живописи; не везде есть музеи, ребята — везде; и везде осенью градация листьев, ярчайших, чудеснейших, глаз развивающих так, как его развивают Рембрандты и Врубели.

Прямо скажу: на камнях и на листьях вполне научаешься видеть; умение видеть — итог долгих опытов; там, где нет подлинников высочайших художников, явно хромает наш глаз, отставая от глаза музейца; но вспомним: музеи — раскинуты всюду: природа — музей; были б только инструкторы.

Камни аджарские многое мне приоткрыли; они — ключи быта, ключи к пониманью орнамента; Гете сказал, что в поэзии лишь созревает природа; не более ль этой природой являются цветности воздуха, листьев, земель: в цвете камня.

Вбираю глазами аджарские камни; меня отрывает товарищ, кого-то с веранды встречающий; шум, голоса: несомненно же к нам. Кто бы мог это быть?

Я встаю из-за каменных грудок; с веранды — товарищ:

— Представьте же кто?

— Кто?

В. Э. Мейерхольд; с ним супруга его, Э. Н. Райх.

Суждена значит встреча нам; только что стал я обдумывать, что нам пора собираться в Тифлис ознакомиться с городом, мне иметь встречу с В. Э. Мейерхольдом, чтоб договориться о ряде деталей „Москвы“ („Москвы“-драмы); узнав из газет, что гастрологи театра — в Тифлисе; в виду ряда гнусностей климата мы порешили ускорить наш выбег в Тифлис; нам навстречу В. Э. и Э. Н., взявши отпуск, явились в Аджарию; и безо всякого адреса нас отыскиали:

— Откуда вы? Как вы узнали, что именно — здесь мы?

— А я телеграммой Москву запросил, а потом мне в саду Ботаническом точно сказали ваш адрес; спросил: „Белый — где?“ И ответили: в точности.

Я — подивился.

Мы сели: В. Э., препостыдно поймавший нас в „каменной“ нашей болезни, с живейшею пристальностью нос уткнул в наши камушки; стал я опрастывать стол:

— Погодите — меня останавливала Э. Н.

Стало легко, просто, весело, как и всегда с Мейерхольдом, с которым воистину не говоришь, а бытийствуешь, действуешь; здесь, среди пальм, гости мне показались своими: В. Э. удивляется пальмам, аджарским носкам моим, камушкам; и развивает градацию нервных, чуть-чуть уморительных и остроумных движений: словесных, душевных и пантомимических; молниеносность реакций на все, что его окружает, подбадривает: все становится легким, весьма исполнимым, простым; вот он вытащил всех нас на дождь; на дожде угощать стал оливками:

— Кушайте, кушайте: вкусные!

Э. Н. в легчайшем во всем, подмочивши себе башмаки, запросилась домой.

— Что, — шакал? — оборвал Мейерхольд сам себя: Есть шакал? Вы, знаете, кожей его приманите; сложите-ка

здесь ремешок; сами — сядете в куст; и увидите, что — прибежит: прибежит непременно!

И эта реакция на наш рассказ о шакалах, — среди очень серьезных, умнейших бросков: о театре, Тифлисе, Баку, о ближайших заданиях; каюся — мне показалось, что опыт шакалий есть опыт вполне им испытанный; где-то, когда-то В. Э., положив ремешок, приседал меж кустов, ожидая шакала; а может, и — нет: все, чего ни коснется В. Э., живо вспыхивает и художественно процветает: театр, быт, жизнь, мелочи:

— Что ж, не едите оливок?

Мы весело вместе обедали; слушал В. Э., раскрыв рот о проекте макета к „Москве“; мало понял — в конкретном; но понял — талантливо; принцип движения, данного в статике, иль — „все во всем“: вот проект Мейерхольда; и он принялся живописно описывать, что есть теперешний город: стоите одною ногой на панели, другая свисает над сходом в подвал; носом — в окна квартиры, а глазом — в открытый под'езд, где летает лифт; все это — вместе, зараз: шум подвальной пивной, грохи улицы, жизнь законной квартиры, лифт, горб тротуара с бегущим трамваем; и кошка, бегущая под каблуками; и это — „Москва“.

— А, что скажете?

Выяснилось, для создания такой постановки нужны этажи, акробатика, лестницы; и, восхищаясь вполне гениальным проектом, подумал шутливо: „Немногим ошибся писатель Булгаков, в романе своем предсказавший погибель В. Э. от сверженья трапеции с группой голых бояр; гибель эта весьма угрожает В. Э., когда даст он „Москву“: о пяти этажах!“

— Приезжайте в Тифлис; мы найдем вам и комнаты: там и макет покажу; „Ревизора“ посмотрите.

Нам—соблазнительно; и соблазнительно прежде всего—
убежать из Аджарии.

За десять дней, авось, климат изменится!

Договорились: двадцатого — будем в Тифлисе.

Потом провожали гостей, уезжавших в Батум; и от-
туда — в Тифлис; хляби чуть подтянулись; В. Э. торопился
на поезд: нелепо и мило, в своих попытках принимая
мычанье быка за свисток паровоза и очень боясь за Э. Н.
и товарища, чуть-чуть отставших: наедет на них; но на
станции развеселился он, пристально очень обследуя
плод, незрелый и кислый.

Вот — поезд.

Уехали.

Мы возвращались; и мы говорили: в Тифлис!

Цихис-Дзири. 16 мая.

Ну, конечно, — в Тифлис; утром точно подбросило:
трах-тарарах! Гром, лиловая молнья, гром, молнья: без
устали; пушечный выстрел; едва не скатился я с лесенки —
вниз. Гроза — странно беспрокая: как родилась она в хо-
лоде, бледном и мертвом; так — в холод ушла.

Льет по-прежнему!

Цихис-Дзири. 18 мая.

Едем сейчас: вещи собраны; как из ведра дождик
льет; и я с ужасом думаю, как, хотя с помощью Вани,
опустимся мы по осклизлому краю ущелья, имея налево
отвесную стену, направо — стремительный срыв; тропка с
очень предательским краем; поставишь на нем свою
ногу, — край рушится; тропка — шага полтора шириной:
скользь — ужасная; вещи — тяжелые.

Едем!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ТИФЛИС.

В поезде. 19 мая.

В миг от'езда — мгновенная метаморфоза; взлетевший, дымящийся занавес, странно раздрался клоками, покорно ползущими около черных подножий; везде проступили сады чаровницы Армиды; Армида — Аджария.

Мы — даже ахнули!

Этим показом Аджария бросила: „Не забывайте“.

В Батуме — давеж; пограничники; перегруженных — осматривают; контрабанда — гуляет; мельк личностей темных.

Но поезд в луну ускользнул; чистота и удобство в плацкартных вагонах; мелькнуло искоженное: Мыс Зеленый и Чаква; серебряное Цихис-Дзири: летит мимо окон; уже — Кобулеты, где в августе — жизнь; Кобулеты — курорт для тифлисцев, спустившихся с гор (в горы едут в июле); теперь Кобулеты пустуют; уходят аджарские горы, косматясь лесами, в которых — кабан и медведь; вот равнина, вспотевшая топью: леса — неисхожие, сети фруктовых садов, — заболочено все; попадают мертвенно белые лица мингрельцев, больных малярией; и страшно подумать здесь высадиться.

Ночь свершает обход — в серебре; появляется за Нотанеби — Самтреди; Рион перед ней; с Нотанеби —

шоссе в Озургеты, которое — верст восемнадцать от станции; пятна пространств Кутаисской губернии; здесь экспортируют: шелк, кукурузу и фрукты; я где-то читал, что обилие вишенъ — беда; ими гнутся деревья; их свиньям бросают; две трети плодов погибает; нет сбыта; и сборы беспроки; сады — необорные.

Светит.

Не спится: торчу под окном; за садами, болотами, оку невидные ночью, а, может, невидные вовсе (за далью) под'емы к Сванетии.

Вот куда тянет!

Долина Риона, где розы цветут в январе, где в конце февраля зацветает камелия; некогда тракт караванный (от Черного моря в Центральную Азию), эта долина, когда с маляриею справятся, в аттракцион превратится, — хотя б Кутаис, утаившийся в ярких ландшафтах и в мифах (как-то: грот Язона); да, кстати: Медея, которую знаете вы, — та, с которой Язон сочетался — грузинка; „Медея“ — обычное имя здесь; ныне повсюду встречаете маленьких черноволосых Медей (и — позднейшая вставка: с одной познакомился я; она, — дочка Яшвили, поэта грузинского).

В более позднее время являются римляне: Грузия сторожевою окраиной римского мира была, очень дорого стоящей; круто горами ломались пространства истории („нашего“ древнего мира); за Грузией шел неизведанный мир, о котором ходили темнейшие слухи; Каспийское море делило историю древнюю — на две; они чуть не встретились: об'единенный Китай восток; и мир Запада — Рим; но случилось что-то: какое-то вдруг появилось пятно: пятно вихря; вихрь рос, превратясь в ураган: вихрь народов; и далее — переселенье с Востока на Запад, менявшее четкий античный рельеф.

Эту местность проспал, как и в первый раз; все Шаропань просыпают; в пути от Тифлиса же все просыпают Сурам: перевал; Шаропань — при горах: недалеко хребты; в них же — залежи марганца; узкоколейка ведет к ним; а речка Квирила, что значит — крикунья, шумит; поезд мчится в долине.

Проснулся.

Туманы, под'емы; все чернокосматые, точно коты, обстав поезд, гнут спины горбины; сначала — лесные, а после — безлесные: миры утесов взвороченных, где — на утесе утес; верхи срезаны мутью; лишь в просинь мгновенную высверкнет мрачно пятно серебра: это — лед; не приветно в такую погоду.

Вот станция Ц и п а.

Как холодно!

Около перевала Сурамского голо и пусто; петлит змеей поезд, свиваясь в утесах; и кажется, — ты ползешь в небо, и горы уходят под ноги; но это не радостно; местность — ровнеет: поля; и — селения с бедным посевом, с пейзажем, скорей, — новгородским; долинки такие есть сфера альпийских лугов; горы сгладились не потому, что их нет: потому, что они — под ногами. Откуда-нибудь, кто-нибудь, может, смотрит из низа: он дикую медостижимость утесов увидел, рассеченных на двое тучею; выше ее, в точке гребня, быть может, — уносится поезд наш; пусто и ровно.

Сурам.

Инженер, проводивший туннель, поднимается в мыслях пред каждым; туннель вели одновременно с Сурама и вблизи Михайлова (та сторона перевала); отверстия в положенный срок не сошлись; инженер был уверен, что он прогадал в вычислениях, что труд погиб прахом, —

не выдержал; и — застрелился; но в тот же момент два отверстия встретились: повременил бы!

Герою труда сложен каменный памятник.

Гасятся всюду огни: воцаряется мрак; „тох-тох-тох“ прогрохатывает отчетливо в каменном склепе; и — явственно тащимся вверх; вдруг удары печальные колокола возвещают, что — пункт перевала; и тотчас же — явственный спуск: до Тифлиса.

Мы вылетели в серый мир предрассветный; пасть — сзади; дымища оттуда валят, а вокруг вырастают вершинки; растут, как грибы из-под ног: выше, чаще, стремительней.

Тифлис. 19 мая.

Местности около Гори — проспали; проснулись меж Гори и Мцхетом; то — Грузия; ранней весной, по дороге в Батум, любовались мы ей.

И опять пожираем глазами.

Ландшафт — не аджарский; тот — буен; а этот — скупой и сухой: благородный. Где роскошь лесов, бамбуков и лиан? Всюду — сушь очертаний, безлесица; но — до чего проработано! Вспых колорита ярчайшего, кое-как скомкался; пестрости — пересеклись кричаще и грубо; из пересечения вспыхов — рельеф приподнялся аджарский: мазки, мир экспрессий; рельефы же — смазаны.

Над подтифлисским ландшафтом работал — резец; гравер, опытный мастер, отбросил все яркости; декоративности стертые: сознательно; все — предысчислено; линии — будто сухие, простые; во всем — экономия, ясность; но именно: невыразимость подчеркнута ясно и трезво измерена: формулой.

Сухой отчет о местах: не места; цифр колонки — не холмики.

Живя в Аджарии, нам вспоминалися строчки из Фета:

На суку извилистом и чудном
Райская качается Жар-птица.

Но в Грузии Фета не вспомнишь. Кого вспомнишь?
Пушкина.

Так, как у Пушкина, бедная строчка для многих, кто уши растряс Маяковским, глаза ж истерзал краской Фета, — пожалуй, покажется бедной долина грузинская с сетью холмов, после чалм пестроцветных, — не гор — подбатурмских, вполне приспособленных, чтобы служить декорацией дивертисмента „Руслан и Людмила“; потоки кипящие там, как... брады Черномора Невидимого; и клоками брады Черномора несется турецкий туман, за который схватятся, Руслан, посетитель Аджарии, борется, изнемогая в борьбе; Черномор — это климат; и он же есть шапка, в которой сидит невидимка Людмила, искомая нами, как всеми: погода прекрасная; снимет свою невидимку Людмила, — и метаморфоза чудес: чудеса в решете, как и в дивертисменте, до... до пресыщенья, как в строчках.

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным.

Аджарский свет ложный, мгновенный, как быстрый ракеты разрыв, как бенгальский огонь.

Я любителям всякой романтики (с „р“ и с два „р“) ехать рекомендую в Аджарию.

Грузия для пушкиниста.

Чарующа эта часть Грузии: тихой своей простотой; простота же — предел изощрения; здесь грубые вкусы, надувшись, пройдут; и отметят: „Природа бедна под Тифлисом“. Такую отметку я встретил в каком-то из путеводителей; это сказать — то же самое, как если б

выразиться: Пушкин — не задевает; в нем, знаете, как-то все бедно; эмоции нет; вот — Надсон; и напыщенно продекламировать:

Пусть роза сорвана, она еще цветет,
Пусть арфа сломана, аккорд еще ррыдает.

Эти места — отмелькают; пусть я ничего не узнаю от Грузии: чередование спокойных зеленых долин, окаймленных сработанным росчерком линий рельефов, мне свяжутся с милыми, сердцу знакомыми строчками:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Тот берег есть берег времен; отстоянье от нас его — тысячелетия; лаборатория сумеро-аккадийских культур — вот она: в разработанной, переработанной, четкой культуре линейных сложений; „другая жизнь“ приподымается; это история длиною лентой развертывает свои смены картин; льется кровь; цитадели культуры штурмуются дикими ордами вновь проходящих народов; кровь Грузии — старое очень вино, настоявшееся на глубоких страданиях; мы еще в шкурах ходили, а Грузия — выстрадала; первая здесь принимала удары: монголов и персов; и вот отчего: „Ты не пой мне, красавица, песен своих“. Да, мы поняли: местности эти — точнейшие ноты; глядишь на них — песни встают.

И вся Грузия — песня: мотив — благороден; слова — очень строги и очень грустны.

.....

Было сыро и облачно; но и в дожде благородство сухих очертаний показывалось, как рисунок: отчетливо;

даже сквозь дождик, совсем не аджарский, мы радовались: климат сух; и куда эти хмури исчезли? Остались... в третичном периоде.

Хмурый денек, а — приветливо.

Штрих, мной подмеченный: в Аджаристане пластична земля; всегда — дымка; и контуры — переменяются; воздух там вылепил землю; но воздух смешался с — водой; там — вода в атмосфере.

Здесь — четкая сушь; здесь резец с совершенною четкостью выглубил линию, не изменяемую атмосферой: в гравюре не значима краска, но — линия.

Эти рельефы окрашены все же: вот желтый тон в темно-лиловом рельефе; но оба рельефа — на третьем, глубокозеленом: три ряда холмов; тем аккордом тонов восхищался товарищ:

— Смотрите, все время меняются; то доминирует желтый, то...

Тут оборвал он слова: любовались лиловою лавою все потопивших оттенков, пока не явился причудливый город из складок утесистых, чтоб быть смытым зеленой волной.

Это — слева.

А справа — зеленые гущи долины, как скатерть приподнятые чьей-то мощной рукой в подкуренье туманов и переходящие в горы, скорее — в стенения: что там такое, — понять невозможно:

Смотрите: зубчатым кольцом из холмов окаймилось все.

Крут оранжевый холм в забледнениях нежнолимонных.

— Там что?

— Старый замок.

И — головы вздернули: встали перпендикуляры.

Мухет: старый какой!

Вон и серозеленый собор; вон и серые крыши; за ними — утес; на утесе же — Мцыри.

Мы будем там: скоро.

И — нет! Не могу прекратить эту запись: потоками ассоциации просятся лечь на бумагу; гоню их: пошли.

Два художника встали: один — в альмавиве и в шляпе с полями — брадатый, власатый; и — с трубкой; такие когда-то ходили по улицам; и все уже знали: художник, романтик: стиль — „чорт побери“. Он — талантищем был; он наляпал Аджарию; нас удивил; и — спился.

Был другой: сухой, бритый, седой; и с губами, поджатыми крепко; учил рисованию он; был — педант: детворе ставил двойки; и всякую там отсталость выказывал по отношению к бурным стремлениям; был — классик; Пуссена любил, любил Дюрера, молча: не лез ни к кому с восхищеньями; напоминал, впрочем, Тютчева (та ж суховатость лица); лишь в глазах, очень маленьких, карих, прикрытых очками, — какие-то бегали искорки; что рисовал, — неизвестно: какие-то сухости академические.

Вот он — умер: стояли пред папками, перебирали рисунки; чуть их не сожгли; но случайно знаток оказался; сказал: „Посмотрите-ка, разве не видите вы — гениально; какая гигантская сила порыва, зажатая вместе с резцом в кулачок суховатый, сказала в росчерке линии, с виду простой, здесь взлетающей в грядки утесов, зубрящихся (зубрина к зубрине — ходы на кварту, на квинту); и после — слетающих. Сколько умения, знания форм!

И умерший художник, „учитель мальчишек“, стал в памяти — гением; произведение его называется:

„Местность близ Мцхета“.

Она — древний город, где каждая складка холма есть орнамент строжайшего стиля, где узкий прощел между

складками — уличка, где и растрески слагаются в правильно-сетчатый, выщербленный горельеф беспредметных, как музыка, тем.

Это — древняя летопись: полуразрушенные Вавилоны прохожих культур, токи ордищ, перевших долиной Куры, отчего на холмы преклоненный Тифлис, серый Мцхет, дряхлолетний, столица покинутая, изрываясь морщинами муки и скорби, но муки и скорби возвышенной, — лица свои поднимают с укором под небо смятенное.

Великолепная рябь: рябоватые местности Мцхета, точимые ходами, выдолблинами пещер, перехваченных сетью, слагающей город подземный, куда убегали все жители края спастись, — старинная рябь, городов подземельных и рябь первозданная, вдруг переходят в рябь крыш, в серебро обветшалых церковных тычков; надо всем же, как щит черепах ископаемых, выгнулась крыша соборная над желтопенной водою Куры; а в Куру полосой голубою, не смешиваясь желтым цветом, влилась голубая Арагва.

Рябая стена, камневатая — фон; увенчалась — развалиной Мцыри.

За Мцхетом — Тифлис.

Но сперва в окна глянули странно бетоны гиганта „Загэса“.

Снижались кругом рябоватые стаи утесов; меж них подползли рябоватые кучи крыш, дымов.

Тифлис.

Мы — приехали!

.....
Сеялся маленький дождик; он кончился; стало приветливо; серый Тифлис: он — приветливо серый: есть серость, которая — лишь аллегория скуки; и есть серый цвет: просто цвет безо всякого примысла; может быть

нежен, очарователен он; эти серые здания, серые храмы с серебряными островерхими вышками, серые стены добротны тем древним налетом, похужлостью многих годин, пролетевших осмысленно; серость отстоя, быть может, столетий, простерлась, как тень некой думы и грусти; вот—слово: мы едем изгибистыми, порой громкими улочками в безалаберном шуме прохожих, но стены, прохожий, тот шпиц,—безалаберят смыслом еще мне не ясным.

Воспринимаю я город в цветах; первый символ осмысливания восприятий — цвет, как для Скрябина, воспринимавшего цветом тональность; Берлин мне останется бурсиренево-серым; Тунис — ярко-белым; Неаполь стоит — краснобоким. Тифлис стал мне „серым“ — с вокзала; таким и остался, хотя стал белеть, когда мы приближались к центру; бела Эриванская площадь; расброды и сброды; брожение: так бродит вино, а не те истеричные дерги летящих с портфелями, прущих в трамвай с проклятиями бледнолицых, движения которых порой вызывают во мне представление, будто они суть реакция на электрический ток.

А в Тифлисе на улицах — жизнь: это — радует; вместо того, чтоб из центра бежать, схватив шапку в охапку, в глухой переулок, почувствовал давно исчезнувшее побуждение: выскочить мне из пролетки, смешаться с роями: бродить и роиться.

Вот улочка — тихая: всюду открытые окна; и — звуки рояля; Паскевича улица (бывшая); тихо, бело, градиозно; и — зелень; горбина над домом — манит: перескок через крыши за город, в природу, — приподнят и подав ландшафтом, растающим в город; открытые окна; и — звуки Бетховена.

Странно: Тифлис и — Бетховен? Бетховен, как . где? Где-то — тоже: такие же улочки, горы; иные формации

ор и иной стиль построек, но также пленительно; вспоминалось: Штутгарт! Я жил в этом городе: в улочке, в жизни иной; тем не менее внутренне схожей: приветная зелень, уступы, открытые окна; и — звуки Бетховена.

Я поделился с товарищем этим своим впечатлением: — Парадоксально, но — верно: вполне!

У Тифлиса — восточный вид; стать же его или ритм, подаваемый звуком, не образом, — западный; может быть самое определение „запад“ беру я условно; в моем „осмыслении“ „запад“ — культура науки, искусства, общест-венности.

Вдруг повеяло духом „культуры“ мне в нос; я же думал: „восток“; это значит на нашем, убогом, изношенном и неправдивом жаргоне понятий: вполне „некультурность“, быт — узкий и стабилизированный; нечто в роде: вино —

На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Каюсь: ассоциации нашего подсознания — крепки; привяжется эдакое: кахетинское, сон, шаровары, шашлык; и живет себе; тут — никаких шаровар, никакого сна, даже узорности в смысле обычном нет: зелень, уют, белый цвет чистых домиков, звуки Бетховена...

Остановились у белого дома; ворота; с двора зеленеет веселая купа чинар, кипарисов; так вот где живут Мейерхольды?

Звоним.

И выходит армянская дама, вся в черном, с приветным: „Пожалуйста“. Нас уже ждут: приготовлено все; остановимся здесь; оказалось в течение дня, что хозяйка уютной квартиры, Заруи Карапетовна М., — очень умная, интеллигентная дама, лингвистка, специализировавшаяся

на армянском (на древне-армянском); училась в Париже и ранее слушала лекции Брауна, Гревса, Ростовцева; нам сообщила она: у нее проживал М. А. Чехов, Берсенев и Петри.

З. Н. и В. Э. Мейерхольды: „А...а... будем завтракать вместе“. В. Э. приютил в своей комнате.

Завтрак: за завтраком — смех, разговор; В. Э. нас повел на базары: „Здесь, знаете, преинтересный базар: интересные люди, изделия, всякая мелочь“. К стыду моему встал вопрос о „штанах“ моих, — тех, коих не было, тех, кои видел во сне; посвященный в мои злоключения, В. Э. быстро поднял дебаты о „штанном“ вопросе; и все повели меня; верно, в Батуме я стал ободранцем; тифлисцы ж — франтят и изящничают: туалеты такие исчезли в Москве, в Ленинграде; я, пойманный, точно с поличным, с позором протащен по ряду лавченочек; В. Э., экспрессивно склонивши свой нос, деловито ощупывал пальцем добротность материи: его заботы меня увенчали чудеснейшей парой „штанов“; наградив меня ими, он — радовался; и „нуги“ накупил; и нас подчивал.

— Кушайте: ею питаемся, — великолепная: а?

Вдруг вниманье его обратилось к кувшинчикам глиняным; он, поднимал кувшины, кувшиници, почти не подъемные: „форма-то, форма!“ Готов был, нанявши мальченка, с ним вместе взгрузить кувшины на осла, если б не З. Н. Райх, основательно очень заметившая, что влечение скудельных сосудов чрез тысячи верст — неудобно; признаться сказать, любовался я этой живой темпераментностью, в нем сказавшейся: подлинный крупный художник — конкретен; отличие его от других в том, что видит он в тысячи раз больше прочих, — не в метафорическом, или „мистическом“ смысле: в простом, в эмпирическом: видит, как в лупу; где для нехудожника —

крап, крап предметов, для восприятия художественного — мир сложенных орнаментных; мина прохожего, жест, покррой платья, тон воздуха, облако, солнечный луч и в нем искра стекляшки — все резко подчеркнуто: в увеличительных стеклах увидено и пережито, как вспых под стеклом зажигательным, или с сознанием; Чехов, поэт пролетарский, иль Гете, иль Блок, иль В. Э. Мейерхольд, независимо от убеждений художественных, от эпохи, от стилия, — скликаются в том, что верны они почве искусства: земле, материалу, его разглядению; разность конструкций — позднее приходит; конструкции — над основным, все эпохи скликающим, над „сырой почвою“, иль воспроятем, внимательно взятым; а не художники — те, кто идет и не видит; „крап“, „серый крап“, „в общем и целом“ есть доля тех, кто не художник, иль кто не развил наблюдательности; преабстрактнейший крап есть единственная им доступная форма реальности: эти „очки“ с запотением стекол, верней „запотение“ свое, они — ценят; и звезды им — точки; цветы — счет тычинок и пестиков; сам взгляд живой — „точка“ зрения.

Зрительных „точек“ — боюсь; ведь от „точек“ — расплюйство предметов, заботливо организованных мастером; „мастер“, „искусство“ (от слова „искусный“), „станок“ (кисть, перо, клавиш), иль „ремесло“ — суть слова одиозные для расплевателя; годы упорной работы — платком расплевателю служат.

Удобно: отхаркнет и сплюнет: искусство — плевательница; а плевков его, „точкой“ глядящего, — есть социальный заказ: его, критика! думает, что... виноградом плюет *).

Броды окончились темою грустной: В. Э. ожидал — расплевания: шел — „Ревизор“.

*) Выражение покойного Дорошевича.

И здесь — точка.

Поели; и — выскочили: не сидится на месте в Тифлисе; и тянет: направо, налево, вверх, вниз; вверх взбирается улочка: несколько домиков, — стены, тупик, зелень, ребра; отвес с металлическим просверком, с бронзовотемным, сработанным фоном; вниз скатывается та же улочка: зелени, стены, ворота, дворы; каждый есть четырехугольник веранд, двух-трех-ярусных, тонущих в зелени; ниже — скрещение улочек; вправо — пролет: и как бы покатались вниз крыши квартала; и та ж сероватая рябь; и из ряби ряд башенок с посеребрением шпигцев: в Тифлисе особый стиль церкви: старинный; меня поражают пропорции; выношенность — поразительна: стиль — первоклассный, но скромный; в глаза не бросается.

Над приподнятым кварталом — на бронзовых мускулах, круто напряженных, горб, или — гора Давида.

Мы ищем подножий ее.

Взгорбок, скверики: город вплотную уперся в свой загород: в горб; справа — склоны; и — слева; мне ясно, что радует нас в этом городе: всюду — подножия горные; в городе — город не чувствуешь; выскочишь за-город, — только сверни; через десять минут — ты приперся к стене; в ней — туннель: минут пять по туннелю, — и та же горбина земли отрезает тебя от всех гомонов города: дикие заросли диких отвесов, потоки, пространства; иль — амфитеатры грузинских ландшафтов, уж ставших родными.

Вот фюникулер наш срывается вверх: иль — вернее: утесы, и крыши, и башни, и церкви, как будто сразгону пустились усакивать, вниз улепетывать; зелень, безлюдие, горные ребра и бронза оттенков откуда-то свыше — вприпрыжку на нас галлопирует; вовсе не видно сбегания крыш; точно остановились, — стоят; но — стесняются; обо-

значаются сплавом: и длинным, и узким разливом строительной ряби, каймигой горами окрестными; вот он Тифлис — весь внизу, на ладони: премалый; десятки же, может быть, сотни Тифлисов обстали его; те Тифлисы — окрестности; местность сработана четко горообразующей силой; Тифлис стоит, собственно, над клочкотанием серной пучины; источники серные, бьющие всюду в веках, выносящие газы наружу, — суть клапаны-предохранители, чтобы на воздух Тифлис не взлетел от разрывов подземных; но предохранительный клапан, — источник целебный и пренасладительный; гонят нас: „Быть здесь, не взять серных ванн, — просто стыдно“! В. Э. Мейерхольд уж описывал, как вскочит банщик на спину; и будет тузить, что есть мочи; сего утешения банного я не приемлю; в тифлиские бани итти не намерен: и так была жизнь меня!

.....

Мы — над Тифлисом: вид вниз; но манит перспектива иная: гора, снизу горб, когда встанешь в вершине горба, есть начало восхода: подножие восхода, которому нет окончания: пологий восход — манит; там выше всего (мы с вершины Давида не видим вершины действительной восходов простертых) — Коджоры: верстах в двадцати.

Пора вниз: к семичасовому вечернему чаю.

Потом — „Ревизор“.

Тифлис 20 мая.

Впечатление от „Ревизора“ с утра застило Тифлис: орельефились частности; то, что стояло непригнанным, в первых спектаклях, схватилось: живет; Мейерхольд лишь махает рукою, ждет брани; я порами кожи вбирал в себя зрителей; но отношение — внимательное, без предвзятости вовсе.

.....

Тифлисский театр очень стилизован; он выдержан в голубоватых тонах.

Удивило обилие лиц, проработанных, четких; я пристально вглядывался в репродукции с Гудияшвили, грузинского мастера: техника выявила: превосходный овал лицевой; тип грузина встает предо мною; так вот он какой? Не тот сонный грузин из московской шашлычной, с опухшим лицом и с глазами — чернейшими пуговицами, при серебряном поясе; „тот“ грузин шлак, как „тот“ русский, который в „кацапы“ попал к украинцам, как немец „пивной“, что живет в представлениях наших немцев; грузин и есть этот вот; Гудияшвили рисует его; я вчера его видел в театре (в десятках редакций) с отчетливым, умным лицом, вырезаемым в тысячелетиях крепкой народной культуры.

„Такого“ грузина люблю; и „такой“ грузин — Грузия; „тот“ же, который живет в представлениях кацапских — незнание Грузии, наше расплюйство.

.....

Сегодня слепительный, жаркий, безоблачный день; Мейерхольд вскочил рано: в бега; я пил чай: разговор о классической филологии, языкознании с З. К. Мутафовой, нашей хозяйкой: армянское „ха“ вместе с греческим — это латинское „эс“; так что „хелиос“ — „селиос“ или „солейль“ (по-французски); а „хелиос“ — „селиос“, солнце по нашему, жгуче и весело в окна врывалось с веранды сплошной толпой пылиночек; билось стеклом; и — разбрызги стекольные вспрыснули комнату; яркозеленые горы; а небо — синейшая сплошность; подчерченность гор, прибежав под окно, сволокла измерение третье и с ним все пространство Тифлиса — под окна: в поспешнейшем сбросе — и стены, и крыши, и башенки, и кипарисы; из светлой столовой

выходим в слепительный крик; вся квартира — в веранде; и комнаты эти — ее углубленья: „На ней мы живем, даже спим много месяцев“. В ряды веранд выбегают квартиры; их жители — вот: на ладони; с соседней веранды грузинка, вся в черном и белом (серебряно-белое и черно-белое столь характерны: в орнаменте, в тканях, в полотнах, на фресках, — все то же), — грузинка цветы подливает; семейство чай распивает — сквозь зелень, — внизу; а мимоза японская, светлым стволом опершись о перила, листьями ласкается; я на диванчике сладостному посиденью отдался; прогреть свои кости в сухой, не батумской жаре; вот престранно: в Батуме дрожь, а подставиться солнцу боишься: ожог и удар; тут же лысину храбро отдав на съядение свету, я знал, что я делаю: солнце Тифлиса — шадит.

Вообще, я и спутник, с доверием порами кожи вбираем лучи.

В этом радостном переживании света застал Мейерхольд; я, он, спутник мой, Райх, взгромоздясь на извозчика, — едем: везде коленкорово-черная тень перерезала блеск электрический: белые стены и пыль; всюду — ослики, маленькие, храбро бегают; сзади — мальчишка; он крикнет, и ослик, как вкопанный, станет: с него сняв „мацони“, иль „цхали“, мальчишка скрывается в щель; дожидается ослик его; Мейерхольд, не вместив свои ноги в пролетку, не зная, куда их девать, режет домыслами.

Уже за-город: Сад Ботанический.

Бродим. Схватясь за бока и закинувши профиль в зенит, Мейерхольд — восхищается: вот он какой — „расприродный“; я подозревал, что он — конструкционист; это значит — тот, кто говорит: „Гора это как декорация; этот цветок как бумажный“. Я знал одну умницу, годы твердившую: „Нет не тащите в природу меня: там — нет

пепельниц; некуда стряхивать пепел!" Тончайший мыслитель, тончайший ценитель поэзии! Многие — вытащи их из асфальтовой вони, где юрк развивают, — вдруг смякнув, главу опустив, принимаются вяло откашивать то, что увидят: лопух, так лопух; розу — розу; иль — мух уловляют; в сплошном мухоловстве живут, пока вновь не опустят их в вонь, где они оживают мгновенно: умнейшие мысли высказывают и ответственные разрешают вопросы.

Я думал (я каюсь): В. Э. Мейерхольд из пылей закулисных творя превосходные вещи, овейанный ветром полей, будет плакать — по пыли кулис: он же — тянется к ветру, листьям и утесам: привившись, как плющ, побежал, обнимая метафорой местности; неудивительно: сад — упоителен: где он — волнисто холмист, где — склоняется круто к провалу, вылизываемому пенной водою: огромные плиты, как лестница, — там; через падину мост; мы стоим на мосту.

Мейерхольд, сдернув шляпу, в слепительных невыразимых, простершись над падиной и возбуждая желанье схватить его (один прыжок, он прекраснейше прыгает верно, — и нет его), — к нам обращает слова:

— Посмотрите-ка, — лермонтовская обстановка; готовый макет; тут менять — только портить: меня ужасают банальности с'емок; вот: выберут себе слащавую местность: в нее заколотят сюжет; тут же Лермонтов — подан своею персоною; угол вот этот бы весь перенес!

Я представил себе Мейерхольда, тащащего через ручей, подвернувши штаны, весь утесище, — с кедрами, с сетью дорожек, с беседкой, в которой расселись грузинские барышни, — в „Тим“.

Но пришел черед наш: вопиять; возопил, правда тихо, товарищ мой:

— Врубель, глядите-ка!

Да: видим Врубеля; и — первый сорт: эта правильность сочно-квадратных мазков, обведенных, раскраска их, — Врубель такой, какой не был на выставках; жаль: он упрятал работу свою от Москвы, Ленинграда, вписав свою краску в утес; она в'елась в почву; она стала почвою.

Так удивила нас роспись камней, даже глыб, расщепленных пред нами (как всюду, в тифлисской окрестности) на ряд квадратиков, правильных в два-три вершка; вся природа точнее скопировала живописную технику Врубеля; или вернее всего: Врубель вынул отсюда разбитые радуги крыльев своих падших ангелов; та же лиловость, порою лиловокоричневость фона; на нем — блеск павлиний изыскринок, коли вглядеться (быть может, — „пирриты“?); растрески, щербленье поверхности, коль отступить шага на три, — та именно есть обведенность мазка, за которую во время оново так доставалось художнику: де, — нарочито; де, — где это видано?

Тут оно видано: не нарочито, — природно! „Фантаст декадентский“ был натуралист (копировщик); и то, что волнует сердца наши в розблесках и переливах игры его кисти, — ослабленный сильно Кавказ; очень часто — Тифлис. Врубель взял — добросовестно, скромно, умеренно, кой-где натуру природы, укрыв подмалевкою „в стиле“ природы; в эпоху глумленья над Врубелем у нас глаза не видали природы, а видели „а ля“ природу: сплошной „природин“, иль абстрактный экстракт густо смазывал зрение, как... вазелин, коим мажутся для „подгорания“ здесь (придает коже бронзовость).

Стало мне ясным, как именно произошла встреча с Демоном Врубеля; „Демон“ — утес: может, этот; его-то всю жизнь переписывал Врубель.

— Нет, вы посмотрите ка, — тыкал я пальцем в орнамент.

— Да, да, — кладовая какая то — очень рассеянно мне возразил Мейерхольд, потому что согласием на „посмотрите“ такую холодную реплику, как „кладовая“, не мог я считать; и я каюсь, подумал: „Вот первое футуристическое выявление В. Э.: „кладовая“ — какой-нибудь пыльный подвал: в нем кулисы и ящики: в них реквизит“.

Я поклеп возводил на В. Э.: он был занят другим: „Герой нашего времени“ приспособлялся к театру; он, высосав мед из цветка (из ландшафта) его передывал тут же.

— Опять, таки — Лермонтов — мне возразил Мейерхольд, показав на аллею из тополя пирамидального: — Я бы пустил в углубленьи лощины, лишь издали, там на обрывине, двух офицеров, — но издали, издали; близко пустить их нельзя: будет грубо! Вот вы и засядьте, Борис Николаевич, за переделку; идет? Даешь Лермонтова?

Кто — во что: я пустился за Врубелем; он же — за Лермонтовым; инспириатор, Кавказ, одинаково действовал; этим брожением жизни Тифлис мне стал жив; как вино, бродит жизнь, бродит мысль, бродят люди; и бродят базары: кипением соков.

Указывать стал, что есть лучший, чем я, либреттист для „Героя“; мы сели на лавочку, чтобы жевать шоколад, пить „Боржом“; нам служившая барышня, вдруг Мейерхольда узнав, стала пальцем показывать; шопот пошел; мы удрали:

— Ходить невозможно, — скорбел Мейерхольд — останутся и все заплаты на платье рассмотрят.

Мне вот хорошо; я — „инкогнито“: не потому, что скрываюсь, „Бугаевым“ числясь; кабы обнаружился, — спросят: „Гм, Белый, — так, как: почему же не Красный?“

— Как вы остроумно ответили, когда спросили вас, почему Белый вы — раз ко мне обратился почти неизвестный читатель мой: я остроумий ответов своих не оспаривал, думая: „Кто-то, создавши легенду о сем каламбуре цветов, вероятно, уже остроумно ответил“.

— Да, да — сказал я, — как-то знаете, так...

Уложив Э. Н. Райх на скамейку, прогреться, мы сели на смежную лавочку в тень, и В. Э., разложив на коленях бумажку, торжественно мне заявил, что бумажка — проект для макета „Москвы“; я вчера приставал: „Покажите“. В. Э. мне отказывал: „Нет — это надо со смыслом показывать: сосредоточенно сесть, средь природы; вглядеться, молчать и обдумывать.“

Что это? Винт? Установка „Москвы“ на „винте“ — привела в восхищенье.

— Откуда вы вытянули из меня его?

— Да из всех книг, начиная с „Симфоний“; у вас — „все во всем“; и в „Москве“ это „все во всем“ выражено: все квартиры сплелись друг со другом; сплошной лабиринт из квартир, иль крэсчендо динамики, данное в статике; видите: эта спираль под углом к горизонту; на ней — все семнадцать картин, прикрепленные пунктами, — вспыхивают: перманентное действие; можете сразу подать три картины, четыре и пять; можете их во мгновение ока угнать; словом — принципы кинематографа, плюс тема Белого: „Все во всем“.

— Это же чорт знает что?

— Да, тут — новая эра для драматургии; раз принцип такой постановки вполне разрешим, драматургии иначе

запишут; вот видите: сцена здесь есть инструмент; представленья — оркестр.

— Стало быть, контрапункт, или сценоведение, вместо обычных явлений на той же, статически поданной сцене?

— Да, да.

— Стало быть, все — „Симфония“?

— Как же иначе: ведь начали ж вы от „Симфоний“? Я это и выразил в моей идее макета“.

Я был, точно пьяный: в принципе он мне показал гениальное нечто; пусть план воплотить — прерискованно: от гениального до дико бредного — шаг; этот опыт с винтом, — пусть же он будет выявлен!

— Всеволод Эмилиевич, — дайте скорее мне текст: поскорее!

— А что?

— Разве можно оставить его после этого плана таким, каким был?

— Захотели приладить к макету? А? Что?

— Надо заново все провинтить.

Решено: Мейерхольд присылает „Москву“ в Цихис-Дзири, а я текст — завинчиваю: мейерхольдовский винт пахнет эрою!

Сад и окрестности словно покрылись туманом; пошли сквозь туннель, закрыв груди свои в холодеях и в сыростях.

.....

Густо в квартире, — народ: Локшина, Гарин, Яковлев, корреспондент; Мейерхольд, утомленный, вз'ерошенный, — в одной руке карандаш для наброски проекта конспекта (ответ на анкету), в другой же — нуга (без куска нуги не представляю в Тифлисе В. Э.), — Мейерхольд пишет острые линии: через веранду ко мне; от меня — вниз, по лестнице — к почте, к кондитерской, иль парикмахерской;

снова влетает; вдруг став посредине взворощенной комнаты, оцепенело с нугою в руке остановится; и тихо бросит — не мне, не себе: так, — в пространство: „Чорт знает, — вид странный!“

Повертываюсь: Мейерхольд созерцает себя превнимательно в зеркало:

— Вы б отдохнули.

— Ах!

Взмах руки: нет его.

.....

Все-таки сильно устали с товарищем мы: два потока живых впечатлений: один есть „Тифлис“; другой — „Тим“; там и здесь — жизнь ключом; мы, смешав эти жизни, не ходим — шатаемся; да: и Тифлис — „Тим-Тифлисом“ стал нам, — или лучше „Тимфлисом“...

Близ города тигра поймали на рельсах: пришел он из Персии.

.....

Выскочили потихоньку: пустились по улочкам; завечерело: пропали в кривящих винтах, отдаваясь случайной игре серых, бледнозеленых домов и домишек, бродя, не осматривая; с этим пестрым винтом впечатлений в мозгу систематику надо оставить.

Проходик к верандам облупленным; они — старушки; пожалуй и улочка вся — старушенция; кто-то гортанно поет — не Бетховена; серый заборик, крыльцо; по бокам кипарисики тонкие, точно две черные свечечки; и себя ловим: разглядываем и осматриваем; просто глаз прилипает к предметам, как смоченный пластырь; и — не отдеречь: глазу больно: а — смотришь.

Что смотришь?

Прекраснейшую скопановку предметов, в себе не прекрасных и даже не чистых; Бедекеры тут умолкают;

и тут-то кричишь: „Этою улочкою прорастали окрестности, голые скалы, как мохом“.

Видали ль вы осенью пень, мхом обросший? Сложнейший макет, где цвет среза, кора, мох, рябь листьев октябрьских, и даже лягушка с пленительною по орнаменту кожей — верх совершенства; порой, возвращаясь с прогулки из Кучинских зарослей, ты восклицаешь: „Что лучше, — увиденный пень, иль — „концерт“, с совершенством разыгранный. Может быть...пень“..

Так, оставив „концерт“, или — то, что нам надо увидеть еще, т.е. церкви, музеи и прочее, — мы отдаемся „пеньку“, или моху, проросшему в скалах; тифлисская улочка, — узкая, серая, грязенькая безо всяких прославленных „стилей“ есть „стиль“ преславнейший — так, как подана она: со всем случайнейшим мусором, с этой „лавашной“ и с этим пропертым сквозь складку утесищем, из своей щели поднявшим скоряченный куст, с пропылеями (от слова „пыль“, а не от „Прописи“), с ужаснейшим непрометеем (не от „Прометей“ — от „метла“), оседающим в воздухе; пыль, гарь и воздух — чудеснейшие декораторы; пыли, в'едааяся в камень, его ретушируют; счистите и подновите, — где шарм?

Преволшебные, грязные улочки!

Вот и зеленая арка средь серого цвета; и не говорящая надпись, изваянная: „Риза-хан“ (вероятно, — когда-то владелец); налет эстетический, — не эстетичен; налет археологии, — эстетизирует; помню бранились, когда был ребенком, отцы: „Стиль — казарменный: гадость какая!“ А вот Игорь Грабарь сказал: „Пречудесный ампири!“

И „ампирами“ стала Москва покрываться.

Тифлис мил — в убожествах стиля; зигзагище криво раскосой, как будто прогромленной улочки, стая колонок, градация дворигов (дворик над двориком), строй кипари-

сиков, черные букли и черное платье грузинки, носы на почтеннейшем, точно с гравюры сошедшем лице „а ля“ Гудияшвили, одетые по-европейскому, старый крестьянин в куске деревянной резьбы к скосу пашего домика иль век XII (стиль Руставелли) — все вместе: стиль стилей!

В кафе: наслаждаемся кофе, действительным, сливками, хлебами, каких не видишь в Москве.

То — Тифлис....

Тифлис. 21 мая. Утром.

А вот — „Тим“.

Мы хотели бродить по Тифлису; попали ж в театр, оказались в гостеприимной уборной у Зинаиды Николаевны Райх; там сидел Мейерхольд; уговаривал нас: „Оставайтесь, — я вам покажу свою лабораторию: кулисы в действии“.

Мы — соблазнились.

В. Э., ухвативши, повел по засценным темнотам, где мы натыкались на рельсы, на куклы, на странные части невидных машин, где кипело все людом, сновавшим по мраку в полнейшем молчании (действие шло); В. Э. гладил попутно свои рычаги, косяки и густейшие пыли, — с любовью, показывая:

— Поглядите — решетка: а, что? Николаевский стиль.

— А вот здесь собирают они инвентарь.

Тьма — кромешная; выступили очертанья: наткнулись на сценку вкатную; вскарабкались, сели во мраке, втроем, — на диване „вранья“; и отсюда смотрели на шкаф... с офицерами; тут Мейерхольд, соскочивши с дивана, повлек нас:

— Вот, — в это отверстие заблаговременно влезет он; эта дыра — чтобы он не задохся...

Таинственный он, залезающий,— в ту минуту к нему относился В. Э. с почитанием: „он“—выразитель идеи; на несколько миггов в „нем“— фокус спектакля; я думаю, что отношением таким, уважительным, благоговейным к носителю „действия“, пусть моментального, шибко бодрил Мейерхольд; даже мне, не актеру, не страшно было проделать что-либо на сцене, когда там за сценой сидит Мейерхольд.

— Вы смотрите,— „он“ действует.

Понял, что мельк возбужденных и заgrimированных явно зависит от этого тихого шепота:

— Вы посмотрите,— „они“!

„Они“— звучит нежно: он любит „их“ как-то особенно в миги игры, „их“ бодрит; на бодренье проходит спектакль; с освещенной прожектором сцены в раз'ятую пасть очень жутко глядеть: но бросают уверенней жесты, чем бросили б без глаза в спины.

— Смотрите: пошел городничий; сейчас он появится — там; сверху спустится,— с лестницы.

Чувствовалось: Мейерхольд — с городничим; все в этот момент — городничий; и сам Мейерхольд — городничий; от этого, думаю я, городничему легче спускаться; ведь сопережитие чувствуем.

— Что, интересно,— неправда ли? — трогал рукою меня в темноте Мейерхольд.

— Целый мир!

— И — какой!

Тут я понял секрет Мейерхольда: то, чем он воздействует; это — „влюбленность“ в спектакль: не слепая, а — необходимая, нужная помощь работникам сцены; где помощь им? Зритель — пассивен: он, собственно, часто не знает: за, против? А помощь от критика — столь редкий факт, как находка жемчужины в плевохранительнице;

критик думает, что... он плюет... жемчугами, что плюйство — приятная помощь.

Когда Мейерхольд помогает, то — можно играть.

Мейерхольд влюблен в кухню: в ту пыль, в эти куклы; из угла закулисного переживает „мгновение чудное“ он; им и держится: в замыслах, в организации новых конструкций; я видел его, когда он выходил на утренние вызовы: хмурый, немного смешной в своем сером костюме, в подобии желтых ботфорт, — спешно кланялся в угол кулисы (не в зал), чтоб бежать в свою тьму, чтоб оттуда подхлопывать и подборматывать тексты, поклоны с улыбкою слать, — кому нужно.

Артист это — чувствует.

Гладил в восторге свою конструктивную жесь, возникавшую в мыслях его в Наркомпросе, быть может; там — на заседание, среди хода дебатов, возникла она; тут и корень рассеянности, той, которая так поразила вчера, когда он на²мое „это ж Врубель“, ответил: — „Да, да, — кладовая какая-то“...

Надо хоть раз видеть в действии темную кухню кулис, где участники бредят графинчиками, париками, подбором предметов, где двигают странные части: в глубоком безмолвии; центр динамический — вовсе не в сцене.

Опять мы с дивана „вранья“*) наблюдали; пожарный придремывал.

Засуетилось: разверзлася перегородка; из пасти чернеющей — плеск; повалилось на сцену тяжелое: сценку вкатную катили. Высокая радость — завинчивать действие; и В. Э. — винт: в очень крупном масштабе винтит он из тьмы; но винченье не выразилось ни в чем внешнем: в присутствии В. Э. за сценой оно; может, в тысячный

*) Диван, на котором врет Хлестаков.

раз — проводил пьесу он; мне казалось, что — в первый; порыв в нем сказался; порыв же — сердца зажигает.

В. Э. Мейерхольд — режиссер-педагог.

Вот нам мастер, заведующий составлением предметов для сцены (к проходу перед зрителем), кухню выкладывал:

— Это — поднос: все предметы — приделаны.

Я стал глядеть: скомпановка — чудесна; с умелостью рюмки, графинчики схвачены.

В. Э. сказал:

— Вот графин: настоящий, подобранный; декоративный графин, из которого пьют, ослабляет иллюзию; надо, чтобы, из него наливая, артисты поверили, что они пьют; например, — нужно чувствовать вес настоящий, а то жест актера подъемлющего, скажем тяжесть, не искренним будет: все — скажется в зале. Предметы нужны — настоящие; мы на базарах их ищем.

Вся кухня прохода предметов в руках „предметмейстера“ (то же художника); и он — гордится предметами; душу влагает в них.

— Список предметов: пятьсот номеров; пропускаю за номером номер.

— По списку?

— Какое: так помню.

Пятьсот номеров, сделав круг, возвращаются — в лабораторию эту.

Подходим к щелям:

— Вы смотрите: играют — они.

И прикладывает с любованием нос свой к щелям: он — за всех; потому-то в другом отношении: за одного — все они; а по моему: в обобществлении жизни душевной в такие минуты и сказывается социализация; нет ее в социализации только абстракций: где „в общем и це-

ом“ господствует, „целого“ в конкретизации — нет; дело от — „головы“ к „голове“ говорить; надо ярко к сердцу и к сердцу звучать; надо волями переключаться.

В. Э. подвел к „куклам“: пощупал их; дома уже, когда ужинали, он со смехом рассказывал, как он дощупался до бороды; борода оказалась принадлежавшей — пожарному, чуть задремавшему и с изумленьем увидевшему, что за бороду дергают.

— Думаю — кукла: а он-то — вздремнул.

Не обиделся б я, если б был В. Э. схвачен за нос; в совершенной рассеянности крюком палки, под мышки просунутою, подцепил проходящую барышню раз я; ее проволока за собой: шага три.*

Объяснилось: смеялись прохожие, барышня, я.

Сбоку стали глядеть мы на сцену „вранья“: и — представьте же: выиграла! Рельеф групп, выступавший на тьме, — не фасете, — по-моему, убедительность новую выявил; очень жалею, что зрителям этот разгляд — недоступен; художественная композиция лишь подчеркнется, когда вы картину поставите наискось, иль — небом вниз, например; отпадает сюжетность: вычерчивается — структура; но линия в явно сюжетных картинах лишь штрих; скажу: школа Кандинского, провозглашавшая стиль бессюжетности, в частности не заблуждалась; в одном ее грех: опоздала она... лет на тысячу; и Рафаэль бессюжетен в сложении пятен и линий; к сложению этому он прибавляет сюжет; все сложенье являет сюжет; и порою — какой!

Это плюс, а не „минус“.

Здесь плюсом явилась возможность разглядывать мне „Ревизора“ со спин и с боков; подчеркнулась громадность художественного достижения, — не театрального

лишь; будь художником я, — закрепил бы все миги, все позы; и каждая самостоятельную показала бы живописную ценность.

Я что-то нигде не наткнулся на этого рода разбор; нет, — наткнулся: в французском журнале, в журнале... Пикассо...

Там высказались: „Ревизор“ Мейерхольда есть новая главка в истории изобразительности.

Так прошла нам и сцена „кадрилли“; разгляд боковой и в ней выявил множество новых штрихов; выходили из „Тима“ взвороченные впечатленьем; и долго еще на веранде ночной перебрасывались мы словами сквозь лепет японской мимозы.

Мерцала зеленая молнья.

Тифлис. 21-го. Ночь.

Жаркий день: парит; В. Э.—в суетах: статья — с тем же шаблоном, иль — „штамп“ общих мест, обывательского лепетанья; писали лет тридцать назад в этом стиле; теперь — так же пишут; и лет через тридцать все так же напишут; открытья Америк! „Булгарины“ социализацией с'едены будут — последними.

„Год с лишним дум и работы развенчаны в десятистрочной рецензии, в пятиминутном деянии!“

И — бегом: бриться.

Э. Н.—еще спит, а мы с другом спешим, чтобы загород выскочить, в холмы предгорий; оставили мысль о музеях: вторично вернувшись, увидим; пока гастролирует „Тим“, не в Тифлисе: в „Тим-флисе“.

Университет, здесь открытый недавно: революционное он достижение; мимо — и наискось, прочь от дороги (Военно-Грузинской), — к манящему гребню, отчетливо вылепленному на другом, превышающем; между — ущелье, в кото-

рое хочется глянуть: что там? Тифлис — снизился; вот он бежит вниз от нас; ускользает — ближайшее; приподымаются дали; и — желтая лента Куры; горизонт расправляет гигантские крылья гребенчатоперых утесов; как стая орлов, они справа и слева обсиживают центр, в котором сжимается город, как заяц застигнутый; кто может знать, что добычей утесов не станет он — завтра, сегодня: встрясется земля и обстанье — низвергнется; домики — рухнут.

Здесь часто трясется земля.

Мы на гребне; склоняюсь над краем обрыва; мой друг отзывает меня, не решаясь взглянуть на ручей, рассказавшийся по развороченным, гладко облизанным скатам; а я неотрывно гляжу, как работал художник: размыв; к геологии чувствую склонность; в университете ж ее — проморгал; кабы мне Иностранцева, томик второй („Историческая геология“), — я бы его проглотил (стали скучны романы).

Вполне исштрихованы скаты; штрих — правильный: волнообразный; цвет — желтокоричневый, но — лиловатый оттенок в тенях (т.-е. — „Врубель“); развалины домиков; здесь деревушка была; почему развалилась? Поток водяной ее мог очень просто слизнуть; или осыпь, быть может, ее раздавила: здесь осыпи часты; читал: глыба рухнула, дом пригородный рассыпав; а — дали-то, дали! Десятки верст: волнообразные линии скатов, под'емов бегут друг над другом, ныряют и взлетывают друг меж другом; люблюсь застывшим их бегом; и ползанию тени по ним, окантованной солнечным светом, пречерной от этого; глубины ущелий — лилово-недвижны; припеки — белесо желты; тени — черны; кто бросил сеть пятен? Там все — в черных яблоках, перебегающих с оползня ската в долины; вон тень перерезала облако пылей от буйволов тихо гонимых в Тифлис по Военно-Грузинской дороге.

С гребенки холмов, точно острые зубья,—отроги: в ущелье; гребенка—скорлупчатая многоножка, чудовище: в страшных растресках; столетия камнем лущится, грозя куче домиков.

Да не погибнут они!

Обернулся: мой друг подбирает растрески: мазки кисти Врубеля:

— Нет, посмотрите, какие?

— Да вижу уж: на воровство бриллиантов не годен; красотам холодного блеска я чужд; воровство ж этих скал,—понимаю: украл бы я сам у Тифлиса скалу,—хоть одну: перенес ее в Кучино бы.

— Руки коротки!

Но занимает,—судили б меня, или нет, за хищенье общественной собственности?

Все же, думаю,—да: осудив,—отпустили бы: может быть, перевезли в желтый дом.

Я — манил:

— Вон туда бы — немного.

Мой друг заключил совершенно резонно:

— Туда,—а вы что под „туда“ разумеете?

— Я разумею верх кручи: шагов сто, не больше.

— Я думаю, что километров пять-шесть, коль не больше: взойдем на „туда“, и — окажется, что не вершина „туда“, а подножие к новому восходу, не видному: разве не знаете, эти „туда“ и „немного еще“ здесь, в горах, превращаются в „много“, в „совсем не туда“.

Все же мы поднимались: „туда“, или верх — убегал: поднимался действительный верх, а казавшийся верхом зигзаг перед нами смалялся; хотелось „оттуда“ увидеть разлом перспектив; а они становились бесперспективным поднятием.

Мы — повернули.

Тифлис — повел войско домов снизу вверх, обходя нас и справа и слева; мы снова в плену пригородных заводов, заборов, железнодорожных пристроек; скрылась Кура.

И — Университет.

.....

Дома — Гарин; и с ним — Локшина; мы — обедаем; громкий звонок: „Это — к вам“ — говорит мне З. Н. Я — в испуге: „И — здесь?“

— Интервью.

— Нет, нет, нет — замахал Мейерхольд — перепутано будет решительно все: лучше ставьте ответы на листике; скажете „день“, выйдет — „ночь“; уж я знаю, — поверьте мне: тридцатилетие опыта!

— Я ж — уезжаю, и я... я... инкогнито; „Белого“ нет никакого: живет тут Бугаев, Борис.

— Вы скажите, что он уезжает, что он — еще будет...; З. Н., мило взяв поручение „выручить“, — вышла В. Э., прешутливо нагнувши под стол, мне на голову скатерть повесивши, что-то смешное выделывал.

Я же бурчал.

— Для чего интервью? Чтобы выругать! Я в знаменитости лезть не желаю: живу себе в Кучине, и не суюсь никуда: живой труп; для чего ж из могилы меня извлекают?..

В. Э. веселился.

Пошли на веранду — лежать на ковре, среди подушек: с нугою и кофеем.

.....

Вечером — теплый, живой разговор с В. Э.; нам он подробно рассказывал, как он работает с пьесою, как он старается из разгляденья артиста (морального и физиологического) его трезво понять; и поняв, ставить в роль,

где его недостатки могли бы служить преимуществом: мало талант культивировать; самый дефект надо сделать источником незаменимого преимущества.

— Мой диагноз совпадал много раз с диагнозами психиатрическими.

Выяснялось все более: он — режиссер-педагог.

Тифлис. 23 мая.

Перекидывались очень сонною фразой с В. Э. всю-то ночь напролет: точно мячики ассоциаций перелетали с дивана к дивану: „А знаете что, — то-то, то-то и то-то...“ И, не получая ответа, юркнешь, точно рыба, в пред-сон, потому что... заснул Мейерхольд: безответен; уже засыпаешь: „Да“ — сонно раздастся из тьмы неожиданный голос, когда уже плаваешь в странном раздолии сонного образа; вскочишь на локте, диван надавив, перебросишь, как мячик, ленивую фразу; она, не попавши, летит рикшетом — в тебя.

Я заснул белым днем, когда стали кричать, как обычно, под окнами:

„Ан-тòн, Ан-тоодн.“

„Что такое, Антон?“ — очень многие из приезжающих спрашивают у тифлисцев: кричат о каком-то „Антоне“ под окнами: каждое утро; оказывается: не „Антон“, а другое какое-то слово, грузинское (предмет продажи); московское ж ухо построит „Антон“, которого — нет.

— Что такое Антон? — я спросил у Мутафовой.

Она — смеялась:

— И „мхатцы“, когда здесь гостили, расспрашивали об „Антоне“; совсем не „Антон“ — и она подсказала какое-то слово, которое тотчас забыл; для меня остается: „Антон“; без „Антон“ таинственного мне Тифлис — половина Тифлиса.

Совсем не „Антоном“ был занят я утром, а тем, что мы едем на два часа раньше, что надо — будить; подстрекал я к поездке В. Э.: мне хотелось во Мцхет; собрались взять машину; но очень приветливо профессиональный союз дал свою; но осмотр наш двоился: и Мцхет осмотреть основательно, Мцхетский собор называемый „Свети Цховели“ (постройка древнейшая была разрушена при Тамерлане, в пятнадцатом веке), взобраться до Мцыри (до Лермонтовского); все то — надо; но, но — надо ж видеть „Загэс“, закавказскую станцию, иль конденсатор энергии, памятник Ленина (как раз под Мцыри — в долине); и то надо видеть, и это: историю и современность.

История все же должна отступить (мы решили вторично быть в Мцхете); „Загэс“ — побеждал: он живую легендой стоял: при Тифлисе; открытие официальное — близилось.

Утром сказали: машина приедет на два часа раньше; и с ней инженер Микеладзе, виднейший строитель плотины, Куру преградившей; должны подвезти его (или вернее — он нас подвозил); принялись будить З. Н., уставшую двумя спектаклями в день (накануне).

Рожок, фырч — подехала; с ней — Микеладзе; а мы — не готовы; вошел Микеладзе, весьма загорелый, слегка коренастый мужчина, с лицом пережженным от солнца, — приветливый, очень культурный, любезный: совсем не „чужой“, — как бы „свой“; это „свой“ и „чужой“, — категории восприниманья; бирюк я, угрюмый, застенчивый, — точно улитка сжимаюсь при виде „чужого“; „чужой“ же — не есть чужой мыслью, иль вкусом: тональностью неуловимую; много людей по воззрениям близких — „чужими“ встают предо мной, а порою далекие, парадоксально далекие люди — „свой“.

Категория „свой“ и „чужой“ — атавизм детских мигот; как только увижу „чужого“ — все скошено; я не о том становлюсь; и не так выражаюсь; бодрюсь, прикрывая конфуз, хорохорюсь; и ряд инцидентов, печальнейших, корень которых — конфуз, возникает; „конфуз“ и сложил репутацию некогда мне; в 907 году писывали в газетах, что я —

...Андрей Белый—
Весь в скандалах поседелый.

От корреспондента на днях я сбежал, дико струся; боялся сегодня, что с нами поедет „чужой“.

А „чужой“ — вот какой! Мы — поехали; быстро возник разговор интересный; в лице Микеладзе прекраснейшего объяснителя мы получили: Кавказа, „Загэса“ и Мухета; потом — и хозяина, нас принимавшего.

С фыркком машина, разрезав Тифлис, очутилась в том самом пейзаже, где с другом бродили на днях: перегон Тифлис-Мухет, в 20 верст, — перегон по Военно-Грузинской дороге; взвивается эта дорога, на холм, чтоб открыть на мгновенье далекий, глубокий прощел, образуемый кряжами над желтоводной Курою; отсюда отчетливо, близко (иллюзия) глетчеры свисли.

— „Казбек“ — показал Микеладзе фуражкой.

Узнал я гиганта, знакомого в снимках; под снежными шапками приготовлялися тучи — обычный обед, выпекаемый к полдню, часам к четырем подаваемый где-нибудь грозами и ураганными ливнями: или к Тифлису, иль — к Владикавказу; ветра подают тот пирог вздутых туч, опадающих к вечеру и ожидаемыми маэями красящих небо. Люблю облака при горах с их особою логикой, странной для жителя плоской равнины; у гор раздуваясь, тучи и пучи, готовые лопнуть от грома и молний, сры-

ваются с места, чтоб согнуть: бесследно; ишь — вспучилось: войско гигантов обсело вершины; стащившись, — шествуют: по-небу; но сохраняют родимую форму (горы, их родившей); вон те облака — слепок гипсовый: с гор; эту тайну пригорного облака выдал однажды Волошин, лет тридцать подглядывающий в Коктебеле воздушное блюдо вершин; я не знаю, отвечает ли „миф“ об облаке, строимый им, данным метеорологии; правдоподобен он; главное — очень красив; его принял на веру.

— Посмотри-ка — учил Макс Волошин — вот облако образовалось: на этой горе — и он тыкал свой палец на облако; после — на гору.

— Сравни-ка их формы: ты видишь: у облака — форма горы.

И я видел, что — да; хоть не видел, как облако с гор поднималось; волошинский „миф“ все же принял; связь облака с горной вершиною — кровная: и облака — те же горы; гора — то же облако.

Пучился дикий мир дыма — от гор, при горе, под горами: над дымами — дым; вместо только что видимых кражей — мгновенно растущие там пятиглавья, трехручья, горбы: не понять, что — гора, и что — туча; Кавказский хребет, раскрутясь, полетел в небесах; его видеть нельзя (мы слетели в ущелье) — он, все же, взлетевший, — висит, чтобы ливнями рухнуть:

— Быть ливню!

— Не будет — смеясь, говорит Микеладзе.

Авто же скользнул вдоль Куры по долине, сжимаемой кряжем, то вновь раздающейся; белогребенные, желтые воды: их гребни, как белые зайцы, вприпрыжку летят друг через друга; меж ними — смерть ходит: Тифлисская хроника введена мне; каждый день кто-нибудь захлебнулся.

В Куре не купайтесь!

купаются: бронзовые, голорукие и голоногие люди отсюда кидаются в кипень; у берега буйволы влезли по шею; рогатые черные головы, тупо уставились.

— Вот Андрей Белый — и Зинаида Николаевна показала на голый утес, прерывая ход мыслей моих.

— Что?

— Утес!

— Почему?

— Вы же любите голые горы: мне с вами связались они.

Да — люблю; оголенность есть знак вышины; горы, покрытые лесом, — прелестные; только! „Высокое“ предпочитаю „прелестному“; прав Шопенгауэр; не слишком торчат здесь отвесы, дорогу каймящие, — все ж они лучше Аджарских, покрытых лесами: классический, тот же рисунок вышины, переставленных вниз; кто-то лазил высоко; и снявши рельефы, принес их в долины; горищи о много сот футов, порою — не горы в моем восприятии; малый пригорбок — порою „гора“: все зависит от линий.

В. Э. Мейерхольд, безответственно сняв свою шапку, отдался припекам.

— Смотрите!

— Вполне безопасно — фуражкой махнул Микеладзе.

З. Н. вспоминала Мурман; я не слушал, задрав нос: на серо-оранжевом срезе утеса, высоко над нами, огромная стая пещерных отверстий: глазищами слепо таращится в мир: ничего не увидела; это история оком невидящим смотрит на нас, на „Загэс“ и на памятник Ленина; не понимает: таращится!

Вдруг — панорама, в которую мчимся; из-за полотна, на широкой долине, несется навстречу кусок двадцать третьего века железобетонными формами; разгромоздясь, — подлетает; несемся — под ним: загоразивая подбегающий,

выше лежащий, обводный канал (из Куры — и в Куру), очертания странные, мир чуднодиких и чуднопрекрасных бетонов — (плотина ли, крепость ли, иль городок „марсиан“) — вырастает: уступами, скосами, лестницами, переплетами, трубами, равными с домик, диаметром (в трубах — вода); это — место, где кони Куры, инженером подкованные, заключенные в трубы, — ритмическим скоком несутся в бетонах; да, да — 18.000 ярых коней галлопируют; ржанья ж — не слышно; и — топта не слышно (все то — будет дальше).

— Сюда мы под'едем потом — говорит Микеладзе. И — мимо.

Повертываюсь; сбоку дом — тихий дом: на отлете; при нем — часовой:

— Это что?

— Ключ к Тифлису: потом!

Микеладзе, смеясь и гордясь, как художник пред созданным им изваянием, стал выражаться энигмами, не открывая нам карт; так и лектор: ударное место свое бережет он, к нему подведя, отступает, длиннотами речи томит; неожиданно — грянет, как в спину.

Другая картина: она есть введение к первой; мы — к ней.

Снова странно изящная ткань переплетов; как кружево, в небо белеет из башен, бетонов и дамб: то — плотина, разрезавшая Куру на-двое; снова — Уэльс, повествующий о мире Марса; совсем не земля: здесь железобетон излагает в пространстве конструкции формул: красиво; но — это ли слово: „красиво“? Могуче — спокойствием сдержанных контуров, вставших над ржаньем и топом: отчаянный шум, сочетаемый с мощным молчанием контуров: всюду винты, мосты, лестницы, взвив переходов, сплетений, воздушных и легких.

То — влево.

А — вправо: на фоне щербатой стены, над которой возвысился Мцъри с единственным жителем, дряхлым монахом, — рабочий поселок, весь чистенький, как на параде отряд, развернул, отступя, караул желтых кубиков (домиков) вокруг гиганта, прекрасно слитого над странным сложением каменных кубов, размерами с домики, с силою палец руки разлетевшейся в землю усталый — гигант, указуя:

— Вот — здесь!

— Фигура же выше обычного роста раз в шесть — говорит Микеладзе; но кажется — больше; она не принята кругом обставших рельефов; ее пьедестал — разнобокие кубы: параллелепипеды: этот — пошире, но — ниже; тот — выше, но — уже; препарадоксально; и все ж — убедительно; лучше сказать, — победительно: здесь торжествует победу наш век — над Курою, над Мцъри, над Мцхетом, как бы отошедши, очистившим место, понявшим себя; лишь оттуда, чуть видные, черные точки пещер — не вникая, не зная, не видя: таращатся в солнце.

Нет, — статуя Ленина, есть продолжение ландшафта; и ею показана: новая эра земли; и ландшафт, повелительно сбрасывающий все иные затеи культуры (попробуйте „виллу“ здесь выстроить, — нет не постройте), Ленина взял; это Ленин, врастающий в почву, без позы, — хозяйствует: распоряжается местностью; в городе эдакий памятник — ужас; его — негде ставить; он площадь любую размером убьет; высота его — пятиэтажного дома; представьте в Москве его: Красная площадь, Лубянская площадь, — нет, нет, не годится!

Над ревом Куры, обрамленный отвесами, Мцхетом, плотиной, под Мцъри — уместен он: в фокусе прошлого, будущего, — настоящего; Мцъри, и — Ленин; иль: „С в е т и

Цховели“, и — Ленин; здесь, кстати: ведь Мцъри — когда-то прославленный был монастырь, в пятом веке воздвигнутый; здесь, до него, поднималось над местностью — капище идола; место скрещенья культур (христианской с языческой) — стало и третьей культурой: железобетонной.

— Стоят три культуры — сказал Микеладзе под Лениным и подмахнул вверх фуражку:

— Мцъри, — окончил язычество в Грузии, новую эру когда-то открыв; Ленин — с Мцъри покончил; и — вот — подмахнул снова влево:

— Электрификация!

Вспомнили мы: революция, электрификация, — вместе равны: социализму.

Изваянный лозунг — „Загэс“.

— А теперь мы — к плотине — повел Микеладзе.

Вступили в фантазмагорический мир: я не стану описывать ряда картин, промелькнувших, хотя б потому, что становятся ясными эти картины не в слове, а в формулах; не инженер я; и формул строительных я показать не могу; Микеладзе водил — поперек, вдоль, вверх, вниз, объясняя нам действие всех механизмов („Загэс“ есть музей механизмов); прослушали лекцию около часу; росло удивление: это все выполнить — в 3¹/₂ года!

Сначала Куру — отвели; поразрыли двухверстный обводный канал, обложивши покато бетоном ту страшную яму, иль ложе пустое, забаррикадировали установкою стаи чудовищ (машин); опустили стальные щиты; и потоки вод — грянули в них; щиты — выдержали.

— Посмотрите: вот уровень — снова махнул Микеладзе на ровное и высоко разлитое, спокойное озеро (здесь Кура — озеро).

— И — вот сюда: глубь какая; глядите-ка!..

Переведа нас, показывал он коловерт глубины, куда бросилась, прыдая с рыком, мотаясь саженными гривами, желтая муть, двухсаженные волны, взметенных зеркальным отвесом спадающих вод, толщиной с кремлевскую стену: от верхнего уровня к нижнему; громокипящая масса, взбугрив за плотиную яму воды, явно выгнула реку, построивши холм, пылом клохчущий — не опадающий холм; будто там запыхтели вулканы подводные; а слои вод — задаваясь берегами, с холма опадая, помчались обратно к плотине — потоками: справа и слева.

— Пришлось углубить дно реки в двадцать метров почти, чтоб ослабить гигантскую силу удара подушкой водною; все было б смыто!

Бетонными спусками вел Микеладзе — робеющих, нас: мы — у водного рева:

— Сюда: осторожнее!

Взбрызги бьют в ноги.

— Ах!

— Нет — ничего: проходите.

И — перебежали под пад ужасающий; в уровень с нами — клохтание; спереди — выше, как сваливаясь всею мощью — горб, пену мечущий, точно летящий обратно; но он — не летит; пролетают при берегу только потоки, обратно бросаемые и давимые берегом:

— Здесь — рыботек.

Мы садимся на корточки: малый обводный поточек — у ног: молниеносно несется; и все ж — он ослаблен.

— Дно ската уложено часто гребенками, силу воды ослабляющими, так что рыба идет здесь.

— Как, — вверх?

— Разумеется..

— Трудно поверить!

— Хотите мы вершу опустим; и вытащим рыбу, — смеется на нас Микеладзе:

— Я знаю — не верят: и все-таки рыба идет себе: с устья — на верх, от Каспийского моря: доходит до самых кавказских вершин: и у рыб альпинизм процветает.

Он долго водил: мы разглядывали всю систему щитов: щитов в действии; и — запасных, приготовленных к случаям экстренным.

— Вы посмотрите на стену воды, — продолжал Микеладзе: глядите: направо, меж гранью потока и дамбами — щель (то же — слева); ее глубина — пять аршин почти; скат водяной, обрамляющий нишу — перпендикуляр; стена — гладкая; в этом отверстии может спокойно стоять человек, непосредственно при водопаде; в верхке ж от него — гибель, смерть; если ногтем зацепить за гладкую стену, — конец: ничего не останется.

— Лучше не думать, а то — все завертится...

Силою скорости строят здесь воды вполне неподвижную форму, присущую твердым телам; тело твердое — интерференция бешеных сил, скоростей сумасшедших; нарушится их равновесие — взрыв; тело твердое — бомба; материя — склад таких бомб; атом — что, как не бомба? И — прав Гераклит; неподвижная форма элейцев — иллюзия скорости: все бытие — становление; ставшего — нет; все константы есть призрак; сам свет убывает; то вскрыл Майкельсон; через семьдесят пять тысяч лет сама скорость луча светового ножем обернется; вселенная, вся, — будет ноль; бесконечность вселенной, и эта константа вчерашнего дня, пошатнулася, в экстраатомном пространстве, чтоб, может быть, скорость свою развивать — внутри атомов: средь электронных миров.

— Все течет — непосредственно вырвалось.

— Да, — здесь ужасно — вздохнул мой притихнувший друг.

Мы стояли в течениях; там — притекало спокойное зеркало; там упала беззвучно твердейшею сталью стена; там метался, выпрыгиваясь и прыгая в дали, — беспробные грохоты.

— Эта вода, — не работает: та, что в обводном канале, — не эта: пойдете туда!..

И повел по сплетениям мостиков: узкий обводный канал, полоскою стеклянною тихо несет мощи светов; бетонные, белесоватые скаты:

— Все то, что вы видели, собственно, лишь для того, чтоб взнуздать в этом месте Куру; запряженные воды идут по каналу к турбинам, которые мы проезжали; турбины осмотрим в обратном пути.

Мейерхольд — восторгался; сказал я:

— Вы, Всеволод Эмилиевич, — не забудьте конструкции эти; авось пригодятся для сцен новой драмы: о будущем.

Снова, покинув плотину, — под памятником; Микеладзе нарочно в подножии стал.

— Вот какой я: вы можете ясно судить о размерах.

Под Лениным — карлик он.

Думал я.

— Карлик, — приземистый Миме; однако, как здорово он, отеснив всю Куру, ложе взрыл; и стальные щиты опустил; ну и мускулы ж нужно для этого.

Точно поймав мою мысль, Микеладзе вздохнул:

— Да, — работа, наверное, стоила мне трети жизни; теперь я с расширенным сердцем хожу: вот на сколько расширилось — и показал он, на сколько.

Взглянув с вождельем на Мцыри забытый (туда бы, наверх), мы сказали друг другу:

— А все-таки — будем!

Но ясно: сегодня туда — невозможно нам; соединять ту романтику с этим железобетонным фантазмом, — безвкусица; да и не выдержат нервы; придется все смазать.

Мы сели в машину; катнули вдоль берега, Мцхет обогнув, переехали мост, — новый, прочный; а старый, прекрасный, служивший недавно еще, — торчит, полуза-топленный вставшими водами; снизу глядели на мост.

С небреженьем сказал Микеладзе:

— Построен Помпеем он.

— Как?

— Да: он — римский; хотели взорвать. Говорят нам, что — археология: трогать нельзя; все равно: Кура справится с ним — очень скоро.

Во мне шевельнулся протест; инженер этот, с дикой Курою играющий, точно с котенком, не слишком ли он позволяет себе? Ведь — история все же; в Германии крик бы стоял; этот мост фигурировал бы на картинах; кормил бы всю местность; и американцы глазели б в бинокли, обстав; но представивши эту картину и вспомнивши, как мы смотрели на старых евреев, свершавших обряд проливания слез у стены (дело было же в Иерусалиме) — припомнивши трех стариков, в золотых, странноватых халатах в обстании американцев, защелкивавших в кодаки этот „плач“, я сказал себе: „Пусть разрушается мост; хорошо, что нет янки; и — нет кодака“.

Круто тут повернули на Мцхет: впереди оказался он, легший у той же скалы, изменившей рельеф, ставшей остро приподнятой; Мцыри с тычка — величав; здесь „Загэса“ нет: Мцхет, Мцыри, мост; здесь — история.

Спину подставив истории, мчались обратно мы: к сооружениям станции (две лишь версты от плотины).

Вновь — формулы математические, став гигантами, нас обступили: железобетоном своим; то дворец марсиан, а не станция; стоя на высшей площадке над странным ландшафтом, рукою показывая пред собой, продолжал рецитировать нам Микеладзе поэму свою о воде:

— Вот отсюда, взнуздавшись, Кура пригоняется к тем четырем — не четыре трубы, а четыре чудовища — трубам: и здесь — побеждается.

Трубы, диаметром в шесть аршин, — немо, красиво слетали; меж ними — ступени бетонные: пирамидальная форма, скликающаяся разве с капищами вавилонскими.

— С этого места покорна Кура; она — служит; припомните грохот плотины; сравните его с тишиною — вот эту; но тишина только кажущаяся; огромная сила течет через трубы; работу в 18.000 сил лошадиных она производит: к динамо-машинам течет.

Сквозь огромные стекла (почти что стеклянные стены) под нами лежащего здания ясно динамо-машины видны нам.

— Пойдемте туда.

Мы пошли.

Новый мир: щелк колес, лет ремней, рычагов рокотание, перерезающий визг, измерительные аппараты, торчки рукояток; и посередине — четыре чудовища, пересеченные, каждое, гладким, светящим винтом, шириною в столб: сталь; столб вращается в полном беззвучии: и совершается акт превращения силы воды в электрический ток напряженья огромного; смазчики в блузах, рабочие, перетиральщики с тряпками — в группах стоят; среди них — инженер; Микеладзе знакомит нас.

— Мы в помещение это пускаем не всех: тут нужна осторожность.

— Идемте.

И сквозь рычаги он выводит в пустынную комнату, напоминающую узкий, чистый, почти что стеклянный сарай, отделенный от прочих машин; ни души: как в пустыне; громадные, точно свитые удавы, тишайше лежат кабеля; на наружных дверях, приводящих сюда, в помещение это, отчетлива надпись: „Смертельно“!

— Нет, — не приближайтесь: рискованно к ним приближаться...

— Убьют?

— Может всякое быть.

— Хороши!

— Это — резервуары энергии: местность окрестную вместе с Боржомом способны электрифицировать, не говоря о Тифлисе; Тифлис освещается ими же.

— Да: ничего себе!

— Змеи...

Мы вышли из здания: в солнце.

— Сюда? — Мейерхольд показал на отдельно стоящий домик, такой тихенький: при часовом.

— Что ж, идемте, — не без колебания вымедлил нам Микеладзе: — Мы, собственно...—да уж идемте...

— Сюда не пускают?

— Для вас исключение.

Входим: безлюдие, блеск чистоты, миньютюрность, изящество; гладкие стены; на них циферблатики, диски; преострые, интеллигентные стрелки на них; все — корректно тишеет: блестит, присмирев; стрелки — галстучки; белые диски — крахмал; их оправы приятного черного цвета напомнили смокинги.

— Не прикасайтесь!..

— Да мы не...

— И не зацепляйтесь!

Твердит Микеладзе, строжея; проходим в центральную комнатку; все циферблатом облещено; обеленò чистым диском на серо-спокойных стенах; посредине же — столик; скорей — туалет: миньютюрен и чист; вместо пудрениц, вазочек — клавиатура сигнализации: кнопочки, лампочки вспышек и сеть рычажечков; скорей инструмент для концертов затейливых, чем аппарат; поднимаясь со стула навстречу — причесанный, прибранный, вылощенный молодой человек, во всем сером, с опрятно повязанным галстуком, но с неестественно-бледным лицом и с глазами вполне апатичными по отношению к внешнему миру, но сосредоточенными на каком-то предмете внимания, здесь не представленном; усики — американские: ущиплены.

Микеладзе знакомит нас.

— Белый, Андрей, Мейерхольд, инженер (имя рек), мои функции кончились; вас инженер (имя рек) познакомит с работой своей.

Инженер (имя рек) пригласил нас усесться за столиком; и деловито прочел интересную лекцию об управленьи системами всех механизмов — отсюда вот: из-за стола; и Тифлис, и Боржом, и плотина, и трубы с турбинами пересеклися — здесь, в столике; здесь инженер (имя рек), не вставая со стула, — все видит, все знает, всем повелевает; не стол, а — „пре-стол“; он при помощи кнопок, нажимок и вспышек (свет синий, свет красный, свет белый) отчетливо ведает: сколько энергий в запасе, в расходе, какие машины работают, сколько щитов опустили, какие приподняты, на сколько дюймов спустилась Кура и т. д.; все — перед ним; и на все он кладет резолюции чрез рычажечки и через нажимы; он — не инженер, а — пьянист; от летания пальцев по клавишам-кнопкам электрификация края зависит; он — кучер, отчетливо правящий армией диких коней (восемнадцать их тысяч): конюшня —

большая. Восемнадцатитысячнопалый, — он с каждым ко-нем обхождение знает; одною рукою — в Куре (там подковывает лошадей), а другою рукою — в Тифлисе играет на арфе из тысячей проволок; эта игра — свет Тифлиса.

Картина чудовищная.

Вы пойдете в уборную, и выключатель поворачиваете: отметится некогда здесь этот акт молодым человеком; и в то же мгновение в Тифлисском театре бросает рефлектор В. Э. Мейерхольд на Аксюшу из „Леса“ Островского; это — узнается тоже; что было б с рефлектором, если бы здесь молодой человек задремал.

В трескотне циферблатов забежали б черные, острые стрелочки, что-нибудь шипнуло б, что-нибудь вспыхнуло бы; молодой человек, протирая глаза, вероятно, вскочил бы; жест — полный порядок; тифлисский квартал, погруженный в глубокие мраки, опять заиграл бы огнем разноцветнейшим, а Мейерхольд бы оканчивал этим огнем свою сцену.

Пока нам читалась лекция, я представлял себе акты творения света из тьмы молодым человеком, который представился тысячерукою, тысячеглазой химерою; а молодой человек, инженер (имя рек) с очень бледным лицом и ущипанным усиком сдержанно дал нам понять, что он лекцию кончил; привстал, ожидая, когда предоставим его мы безмолвию.

Странная, страшная комнатка, где обыденность течет в чудесах и откуда странна жизнь за окнами: в двух лишь шагах живут люди, которые не представляют себе, что здесь деется; доступа нет: видят лишь часового, да надпись: „Смертельно“.

— Спасибо вам...

— Вы извините нас, что...

Молодой человек очень просто заметил:

— Пожалуйста!

Кончен осмотр.

Мы сердечно жмем руки водителю нашему, так показавшему мир неизвестный и спевшему поэму о нем; объяснения, которые слушали мы, есть поэма, иль новая метаморфоза Овидия: метаморфоза в о д ы в ч и с т ы й с в е т.

Микеладзе, довольный волнением нашим, смеялся:

— Коли мне хотите доставить приятность, оставьте билетика два (мне с женою) — в театр.

Мы простились: поехали.

Мчатся ландшафты в обратном порядке; у города остановились в „Белом Духане“: известный тифлисцам духан и известный тифлисцам хозяин духана (одним ли тифлисцам): „Захар Захарович“ письма имеет отсюда; он — оригинал и чудак; он встречает проезжих флажком; и — бьет в колокол: знак, что здесь — станция, что он — начальник ее, что машина по знаку звонка должна остановиться пред „Белым духаном“.

Мы остановились (нас — остановили), слегка закусили, „Боржома“ хлебнули; и — дальше.

Вернулись — измученные, подпеченные солнцем; В. Э. предстояло преть в диспуте: с диспута я улизнул.

И мы с другом, уж ночью, взлетели на фуникулере к вершине Давида, чтоб видеть Тифлис под ногами; увидели — тьму: тьму кромешную (тучи сгрудились); такую тьму редко увидишь; среди тьмы, но в обстании тьмы (с четырех сторон) — там, глубоко, под ногами страннейшее зрелище, иль — млечный путь; это — звездное небо внизу растекалось длинной, но узкою лентою; так и вселенная звезд; она — скопище средь... — средь чего? Центр вселенной — Канбпус; а — вне ее? Нет ничего. „Ничего“ это черное видели мы от вершины Давида; оно — подползало от всех четырех концов („мира“ едва не сказал) к

миру звезд под ногами; то малое, но разливанное море огней, — весь Тифлис; то великое, черное, что обступало, — ничто мировое; оно вдруг рвалось и раскидывалось: в ослепительном миге мы видели ясно обстанье холмов; приближалась гроза; шла в одном с нами уровне, скатываясь от Каджор по пологому склону; постукивал гром: приглушенно; прикрапывать стало, прихлюстывать.

Думал: когда-то Тифлис, сжатый в тесную кучу, обставленный башнями и крепостями, ночами боялся за участь свою; отовсюду ползли на него; тихо спалзывали; были гребни покрыты лесами; мне кажется, что Воронцов для защиты Тифлиса лес снес; оголилась местность на много верст; сползы чеченцев рискованней стали.

Тифлис под ногами опять вызвал мысли о „Демоне“ Врубеля; демон отсюда, глядя на вселенную, из черноты, тосковал; вспых зелено-лиловых зарниц — прямо в спину нам: хó-хо-хо-хó-хо-хо — тихо поохало.

Да, — несомненно: здесь что-то от Врубеля; что-то от занавеса, красовавшегося в Солодовниковском театре (расписанном Врубелем: занавес вместе с театром сгорел); мне ясна его связь с этим именно местом; был весь — ночи мрак: сплошнота черноты; лишь внизу, в уголке, ниже зрителей — поприседали изысканно девы — Тамары, Заруи, армячо-грузинские; ясно: концепция занавеса зародилась — здесь именно.

Ух — как рвануло лилово-зеленым, „р о - р ó“ хорохорился гром: прокатили с Коджор грузы гирь. И — последняя мысль: вся картина, которую видим у ног, — заключительный акт эпопеи увиденной; первая часть: отраженная сталью Кура; и под ней — Кура скачущая; часть вторая: Кура, запряженная в две распокатых, бетонных оглобли, что значит — обводный канал; третья часть: воды, сжатые в пасти трубы; часть четвертая, или — закон пре-

вращенья энергии: стержни стальные, вращенье; часть пятая: змеи, которых колючее жало — ток: кабели, легшие с грозною ленью; шестая часть: мир циферблатов и стрелок, совсем молодой человек (имя рек); наконец — часть седьмая: изверженный кабелем свет, раздробленный, растысячеренный.

И... и... — надо всем: те растысячеренные пальцы — над стадом коней Посейдона, над кабелем, „Змеем Горынычем“, к цепи привязанным, над Мейерхольдом, сейчас диспутирующим и над ванной комнаткой, где — моем руки; везде кончик пальца спокойного и аккуратнейшего гражданина с ущипанным усиком: то — инженер (имя рек), или его заместитель, сидящий над столиком.

.....

Точно рвануло: лилово-зеленой волной, сквозь которую — краснь начала выбиваться: „Бамбац!“ — приударило; знаю, когда приближается центр электричества, в воздухе синие молнии, или зеленые молнии, ржавясь, становятся — красною молнией.

Сильнее захлюпало; в хлюпе — присвистывает; это — ветер: пошли свистохлюпы.

Пора.

И — слетаем с Давида.

Боржом. 24-го.

Я — вспять пишу.

Вечером мы под прохлестом дождя возвратились домой; духота разорвалась молнией и взбрызгами; сели: сидеть и молчать на веранде; Мутафова — с диспута, — скорбно присела.

— Ну?

— Ужас!

— Нет, все же?

— Беспроко.

— „Беспроко“ — о диспуте; я — предугадывал; я отказался от диспута; я откровенно сказал Мейерхольду:

— Бессмысленно; лучше для всех, если я помолчу.

И мы слушали перипетию сей „диспутиады“; увидел, — сорвали В. Э.; он, огромный знаток театрального дела, лет тридцать работавший (целый архив постановок), а вот — не сказал, превратив свое слово в полемику.

— Не понимаю, как мог он пойти на тот тон обсуждения вопросов... скорбела Мутафова.

Мне было ясно, что диспут принять — принять тон самосрыва.

Хорошо диспутировать с темой назревшей, когда ситуация диспута каждого ставит пред темой, когда диспутанты ответственность чувствуют, когда от лозунга завтра реально зависит судьба.

Когда ж не тебе диспут нужен до крайности, а устройтелю (явное дело — зачем), да двум будто б работникам слова — вполне алогично тогда соглашаться на диспут; о, знаю я силу газеты; но... в сильной газете — задворки, незначимые, под заглавием: „Литературный Отдел“, „Театральный Отдел“; в нем порою свивают гнездо строчуны-стрекачи (разновидность сверчков); им и нужно, чтоб „диспуты“ были; сегодня о том; послезавтра — о сем; всяк работает: этот — в театре, тот — в мире науки, тот — в партии; публика — сумма работников; каждый в своем коллективе — у места; в случайном собрании каждый есть — публика, каждый способен так сбрендить, что завтра, проснувшись, воскликнет: „Нет, что я сказал!“

Одно дело — ячейки вопросов, сознательный их авангард или лаборатория сцены, искусства, науки, общественности, стреканье, где спец стоит с заткнутым ртом — есть

иное; представьте себе положение Ленина, вырванного из подпольной борьбы, из коллегии, из авангарда, заброшенного в развал „Керенских“ словопотоков? И Ленин — в ячейке, в коллегии, — стверживал лозунги.

Деятель сферы культурной: огромный и сильный в работе, — ничто в „стрекачах“; в положении физика он, объясняющего, что такое спектральный анализ — не знающим азов науки; в беспутце прей „всеученый“ стрекач; хлопок кормит его.

От развала к развалу — прыжки стрекача: а все прочие лишь вовлекаются, как на попойках, в минутные слабости — срама и плева.

Мутафова охала: Что с Мейерхольдами? Ей — не объяснить.

Я, старый волк — не иду на капканы; суд лучше, чем диспут: имеешь возможность багаж своих опытов выявить ты на суде.

Революция быта — способна свершить хирургический акт: исправленья общественных вывихов с громким заглавием: „Диспут“.

Звонок: Мейерхольды.

Ну да: З. Н. Райх — только машет рукой; Мейерхольд — дико мрачен; а я — пожимаю плечами; как можно поставить себя в положение такое: ему, открывателю студий, путей, педагогу и „спецу“, которому надо учиться, выслушивать чирк трескачей потирающих руки в довольствии: „Время — глухое, тем — нет: писать — не о чем; мыслей своих — тоже нет; вовсе лавочку надо закрыть... вдруг — известие: едет сюда Мейерхольд с „постановками“.

Шум. Есть пожива; сенсация есть.

Тема грустная!

Верю, что социализация с „темой“ покончит; грущу: крепко в’елись клещи в тело жизни народной (Булгарины,

Гречи); с фиктивным мандатом от масс, будут плыть (и не год) под советскими флагами, пока стихия действительности не утопит их.

.....

Утро: жара, трепыхи — уезжаем.

В газетах известие, что затряслися окрестности; под Эриванью — трясется; и в Гори тряслось; сотрясалась окрестность Тифлиса; в периоды землетрясения, иль ураганов, тревог беспредметных и грусти беспочвенной рой обступает меня; все то — в чувстве; сознание ясно: оно отмечает, что стрелка сейсмографа сдвинулась; позавчера и вчера это было; сегодня ж — читаем: трясется земля; я бегу к „бюллетеням“ своим; „бюллетени“ мои — о явлениях природы; они начались, когда мне стало ясно: с природой — неладно; сперва я отметил измену в закатных тонах близ Москвы; все оттенки московских закатов изучены мною: потом изменился сам воздух; заметки пошли: там — стряслось; здесь — стряслось; стал записывать землетрясения; кривая — растет; в Цихис-Дзири, глядя на любимое прежде мной море, — недоумеваю: и шалая мысль подымается: „Завтра мы встанем и к морю пойдем, а оно — убежало; нет Черного моря; лишь дно: только галька“.

— А если б такое случилось? — смеется мой друг.

— Тогда — в горы бежать, потому что волна футов в сто берег смочет, а земли — обрушатся...

— Что это с вами?

Фантазии!..

.....

Взяты билеты: в Боржом.

Взгляд последний — на город от монастыря, где лежит Грибоедов убитый (там памятник, с надписью); чудное место: уютное, тихое; город — внизу; горб Давида отвесом

взлетает. Последнее выпили кофе в кофейне, куда забираемся мы всякий день.

И — домой.

Но — звонок: появляется Эскин, все время толкающий, чтобы прочел я в Тифлисе публичные лекции; крепко отмалчиваюсь; но — подчеркивает, что в „Союзе писателей Грузии“ мысль о тех лекциях; с деятелями литературы грузинской хотел бы я встретиться (Грузин еще не знаю, но мне она так говорит).

С появившимся Эскиным — Тициан Тобидзе, поэт и писатель, застегнутый, кажущийся симпатичным и умным; беседуем с ним; да, да; лекции — будут, вернемся в Тифлис (мы с товарищем это решили: все то, что мы видели еще — „Тимфлис“, не „Тифлис“: т.-е. — „Тим“, плюс, „Тифлис“).

И с Тобидзе беседуем: встретимся скоро с товарищами по перу его; ближе узнаем друг друга.

Простились.

Простились сердечнейше и с Мейерхольдами: „Тим“ — на отлете; Ростов — ждет их; нас — Цихис-Дзири.

Сидим на извозчике, машем руками; В. Э. отвечает в окне.

Ух, — и жарит же!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

БОРЖОМ, ЦИХИС-ДИРИ.

Боржом. 24 мая.

Нынче, когда уезжали, Тифлис — желто-серый был; пыль ожелтила его; небо, серое, пыльное, — свесилось низко своей катавасией туч, уже скученных в тьму грозовую; под грозами, — в грезы поехали; нечем дышать; кое-как мы в горластом галдане протиснулись; местные жители загромоздили тюками вагон: армянин подтифлисский, грузинка худая, подмцхетская, два диких горца (к Михайлову).

Милый сосед наш, боржомец, работающий лет пятнадцать уже на бутылочной фабрике (не обойтись без бутылок „Боржому“: в бутылках развозится) с большой охотой нас посвящал в ряд подробностей:

— Приедем ночью; вы спросите: „От исполкомской гостинницы?“ К вам подойдет человек: высылают встречать пассажиров; гостинница — тут же: при станции; чистенькие номера; и — спокойно.

— Найдем ли мы комнаты?

— Сколько угодно.

— Курортников нет, — стало быть?

— Дней чрез десять начнут наезжать; а пока — все пусто, однако — к приезду готовятся.

Мцхет!

Свисли тучи; глядим: за Курою — нет местности, а — возбуждение ключев тумана: смешавшись с холмами, стреляется молнией; и грохом топочет на нас; дальше — хляби повесились: черные полосы, белые полосы; там — градобитие; каждый день пишут, что — град: в Эривани, в Ахалцихе, над Гремис-Цхали, в Кахетии и в Имеретии.

Под самый град под'езжаем; всклокоченный, перетрясенный вид неба; район землетрусов приближен: верстах в сорока пяти; третьего дня стало встряхивать; думаю: может и мы подтрясемся; в вагонах и так стоит тряс; и не жутко трянуться.

От Мцхета верстах в десяти на Куре, у Шиомгвинской платформы древнеет развалина монастыря Шиомгвинского в очаровательной местности („м г в и н е“ — пещера); эпоха постройки же — юстинианово время.

Несемся в грозе: сквозь нее; погромыхивает добродушно; и — вспыхивает; градобития — нет; частит свеженький дождичек: град пересек полотно перед нами, взлетев на высоты, за нами, — чуть наискось; там он: бьет в гряды холмов; мы несемся среди луж в издожденной равнине, вдыхая всей грудью охладу; легко и отрадно: вид неба — не страшный; у Мцхета же — чорт знает что: кувырки друг над другом разорванных туч, вспыхи, стрелы и гром угрожающий, но — не для нас; мы сквозь все пронеслись, так сказать, без сучка и задоринки; в местностях горных погода имеет особую статью; урагана ждешь, — фантазматория; пантомимический жест, добродушная шалость сквозной атмосферы; не ждешь ничего, — тут встрясет: и огнем попалит, и потопами топит.

Но как хорошо в зеленейших равнинах, каймимых горами, где все — виноградники, крыши, дымки: населен-

ная местность; над нею же замок висит: исторической повестью.

Милый сосед наш вступает в беседу:

— Я — с севера родом; лет двадцать живу на Кавказе: давно прижился; не скучаю о родине.

— А вас не тянет назад?

— Меня лично — нисколько; жена меня тянет: „Вернемся в Россию.“ А я бы остался в Боржоме; у нас — все, что нужно рабочему: клуб, библиотека; книги выписываем из столицы; газеты читаем.

— А как здесь зимой?

— Мрачновато, конечно: отрезаны; снегом заложены.

— Не подмерзаете?

— Мы то? Леса же такие, что — ии! Так что топливом все снабжены.. Летом — весело; видишь курортную жизнь; отработал — в Боржом, или на горы: вверх; то — по ягоды ходишь, то — просто заходишь далеко: сядешь в сосне; заработался — тут и дом отдыха; в нем отдохнешь; Тифлис под боком; любишь природу — наверх забирайся; а скучно, — спускайся; ведь мы — в коллективе: пойдешь себе в клуб, считаешь газеты, поспоришь, за шахматы сядешь.

И — после молчания:

— Климат — здоровый; болезней не знаем; зимою — теплим себя; лето — прохладное; в нашей глуши мы следим за течением жизни; и — тоже: ораторы к нам наезжают из центров; а то посылаем ребят: посмотреть что и как; летось сам был в Москве; и — вернулся. Скажу: я Боржомом доволен; привычное дело, нескудная жизнь!

С любопытством прислушивался к этой тихой, уверенной речи; и — даже: завидно мне стало; вот — четкая ясность; он знает, что надо ему; это — очень конкретная

мудрость; приветливость, даже сердечность в рабочем моем сочетались с практической трезвостью; он в незаметных бросках дал рельеф представлениям моим о Боржоме, который мне виделся просто медвежьим углом; думал я: „Невозможна культура пока в этих старых, лесистых трупобах, где ходят медведи и хрюком кабан оглашает леса.“ А от жизни, рисуемой нам, чем-то бодрым и теплым повеяло:

— Угол уютный!

— Совсем мало знают Кавказ!

— А с грузинами ладите?

— Ссор — не бывает: рабочий, свой брат; нету поводов к ссорам.

— Спокойно в окрестностях?

— Кто его знает, — не слышно; шалили бы, — слышали; можно сказать, что спокойно, вполне, — потому, что живут одиночками многие; домик стоит среди лесов; коль живут, то — спокойно; а мы, когда дом оставляем, то — не запираемся; не было случая, чтоб воровство обнаружилось.

.....
Что это?

Видим скалистый отрог, образующий мыс над Курою; отверстий пещерных — дыра за дырою; и — ярус над ярусом; город пещер называется Уплис-Цихе; был он вырыт в скале раньше первого века; веками его населяли; в нем жили в двенадцатом веке; могли бы теперь еще жить; проживают в таких городах полудикие роды племен марокканских; наездники триб Матмата (представителей триб этих видел в Туниссии).

Вот — Геракли: остановка; семь верст остается до Гори; поехали — вырвался вскрик:

— Это — что же еще?

Разорвался круг гор ближней Грузии — справа в окне; и взгребнилось утесами левое полукружие; видим в разрыве — долину гладчайшую; прямо с равнины, — открытая близко пришедшая цепь исполинов: он, главный хребет; вот Кавказ — настоящий, приподнятый: неимоверен, чудовищен, неописуемо близок (иллюзия это); семья главачей, белодедов, власатых, брдатых, в уборах серебряных, вставши по грудь из земли, заслонила большой кусок неба.

Я — нем: возникающая тишина исполинов, незвучных и вещьглядящих, в сознании не умещаемая; средства язычные — посрамлены; пейзажа такого не видывал; видел же Альпы я, видел же горы Норвегии; бразживал часто в горах: горы — ведомы; но приоткрытое тут, — убивает сравненья.

Схватившись рукой за товарища, с нашим рабочим прервав разговор, друга рывом тащил я к окну.

— Вы — смотрите же!

— Да!

— Что вы скажете?

— Что тут сказать?

— Вы такое видали когда-нибудь?

— Нет.

— И я — тоже.

Взглянув друг на друга, молчали: что скажешь? Молчанием разве. Аджарские горы повычерпали лексикон моих слов; цепь грузинских холмов кое-как улеглась на страницах; для дачи отчета об этой картине, — пожалуй, осталось одно: исписавши десяток страниц, — предать пламени рукопись; к пеплу же дать примечание: „Столько страниц сожжено; точки: ноль, — стало быть; того менее: минус „десяток“ страниц, иль — число отрицательное.“ С оговоркою этою лепет мой будет правдиво воспринят читателем.

Что бы подумал еврей богомольный, когда б показали ему в современном местечке, в галданах базара, — гигантов седых, патриархов; с Енохами, Мафусаилами, Ноями? Пал бы он ниц; и — жест мой: встретясь с этой брадатою стаей в венцах ледяных, разалмаженных, нерукотворных, — пасть ниц: пред природою. Древние земли из недр утаенных проперли под небо; пласты откровенно лежали в первичной эпохе земли; но одевшись покровами новых пород, они тайно, невидно тверделись под нами, чтоб вновь откровением взору стоять в поздней эре; подвержен в смятении! Первый анатом, вскрыв мир организма телесного, видя в нем тайны сплетения органов, — переживал верно б то же, что я.

Будто веки веков поднимались огромные конусы белых миров; между ними, под ними — синь, синь: сине-черное до... просто твердого черного тела, подъявшего на раменах километры квадратные (сотни их), — образовавших страну: не такую, как наши, — иную: Сванетию; в эту страну проникают лишь вьючной тропой; Кутаис — пункт отправка; здесь встала громада — над миром громад, с рядом гор, превышающих Альпы; там — быт родовой, почти доисторический; люди живут в своих замках и башенках, тысячелетних.

Там все — пра - пра - пра...

Эта складка Большого Кавказа, наддавлена с юга: чудовищно выперта; все — первозданное; мощи гранитов стоят посреди; ниже стал кристаллический сланец и мир доломитов (периода юрского); некогда лезли горищи из вод: при сжиманьи коры; теперь стая вершин превышает вершину Монблана: Казбек, Тетнульдтау, Дыхтау, Адиш Джангатау, Эльбрус, Каштантау; и — прочие.

Вдвинулся вдруг в поле зрения холм, перерезав пейзаж: город Гори; [стенными зубцами вцепилась в небо от

гребня, с равнины торчащего, старая крепость эпохи царицы Тамары (двенадцатый век); купа зелени, свесясь над окнами, нам заслонила гигантов, которые чаще всего — в космах туч; проезжая здесь, часто не видят их; мы не увидели, когда проехали Гори: туманы роились; что в них — неизвестно.

В равнину протянуто Гори одной стороною; другою приперто к скалистым обрывинам; сбоку — зловеще присевшие, плоско кривые холмы, с таким видом, как будто они собираются вспрыгнуть; вчера они — прыгали: землетрясения часты; в газетах писали, что — паника здесь; и сегодня вид неба над Гори всклокочен: повисший, недвижимо ставший раскок облаков обвисал озлащенными перьями.

А впереди солнце падало в землю на быстро очищенном небе.

Толчок: спины — ерзули; тронулись; вдаль оттянулося Гори; глазами я местности пил: плосковерхая складка под'емов ничтожных досадно придвинулась к поезду, срезав пролом кругозора; и горы — ушли; нет гигантов; один, самый старый, белейший, со скошенным конусом, в небе стоять продолжал; нет, вернее, что скошенный конус, покинув подножие, над плосковерхою местностью шел вместе с поездом, отгородясь от высот, на которых висел свои тысячи лет; теперь беленьким странником шел *вблизи нас*: вместе с нами: все прочее, — вдруг от него отступилось; он, выступив, шел тут: вплотную.

И он — отставал: умаялся под лезущим выше зигзагом гребенчатым: белый кусок, тычек, кончик, пятничка.

Нет — ничего.

Вопрошаем друг друга глазами:

— То было ли?

— Кто его знает!

— Сон?

Местности просты: не скажешь, взирая на них, что такое таится в их глубинах: пролом мировой там.

Пока лезли в правые окна,—налево свершилось пере-
рождение: но не земли,—океана воздушного; вспыхнувши,
он показал нам такую симфонию светов, что я, старый
специалист по закатам, которого В. И. Иванов когда-то назвал
закактологом за диссертацию, устно пред ним за-
щищенную на эту тему „закат“,—я стоял, рот рази-
нув; и должен заметить вторично: такого заката не ви-
дел; везло нам; сперва показали пространства картину
восстанья земли; потом стали пространства восстанием
воздухов, взрывом из света.

Я думаю, когда луна упадет, то ударившись косным,
огромнейшим телом в нашу земную громаду,—она заж-
жет воздух так именно, как он зажегся сейчас; только
мы не увидим мгновенного вспыха, став вспыхом, сме-
шавшись с космическим действием; увидит—астроном на
Марсе.

И—скажет:

— Ну— вот: и сгорела Земля!

В левых окнах все ясно оранжевым стало: земля, воз-
дух, травы, деревья под окнами; выше грустила лазурь
ненаглядная в златосветящихся перышках тысячеперых
расбросов, винтами взметенных: раздробленных и раздож-
женных; летели плащами подброшенными облака: испо-
лины ж, сидевшие в них, прогорели.

Густел золотоцвет.

И горящие угли горами валились на очерки гор, став-
ших тоже горящими угольями; горы, красные,—оранже-
вели травой, желтели лесами; ущелья ж и складки сте-
нялись вишневым прогустом; лишь там, где обычно уви-

дишь чернотность,— являлась вишнево-лиловая морщь; и— грозила она, нагоняя невнятную жуть. Так сгорают планеты.

И так, вероятно, когда-то пылала Земля: твердь пород протекала расплавами алыми.

Ассоциации лезли навязчиво.

— Не потому ль небо в эдаком виде, что землетрясение?

— А может...

— Земля содрогнется?

Казалось: сейчас это будет.

Глядели в раз'ятость небес; голубое—поверхностью кажется небо; его всковырни; и—багровый разрыв; изменялись оттенки: и та всесветлейшая высь—угущалась: красные перья, оранжевые, яркорозовые, розовато-сиреневые; вместо света—цвета; так ясны угольев: пепельной мутью одевшись, выглядит буро-золотой леопардовой шкурой.

Долины, обрывы, далекие груди крутизн, став в малиново-темный нахмур, озлобели ущельями,—багрово-черными.

— Где ж мы?

— Не знаю.

— Глядеть невозможно!

— Глаза опаляются этими красками.

Справа—опять: проломился ландшафт.

Став в проломе,—гиганты тишели, являя контраст с криком левых сторон: хмурь, спокойствие, сосредоточенность думы, отчетливость формул—в о в е к и в е к о в.

Полукруг, воспылавший налево, сметал в море огненное, изрываясь, сжигая себя; как бы в противовес ему,—справа стоял полукруг белоглавых титанов, простерших

чистейшие фирны, — по пояс: в спокойнейших сумерках, переходящих в темноты; в подножиях — ночь; выше — зримое еле деление на атмосферу и горы; она — темносиняя; горы же — строй черноризый; повыше еще — отчеканенный сдвиг барельефов, сгрудившихся: белосеребряный, в синь отливающий верх на лиловой, густой, темно-красочной глади; она над горами жиднела в сиреневый воздух, уже принимавший горение левых миров.

Эти два полукружия — красно-малиновые вместе с черно-лиловым — сливались в целое круга, являя конец и начало.

Начало — пылание: возникновение газовых масс, изощренные вылеты протуберанцев, танцовщиц пространств мировых, жидкость лав раскаленных; и — первые темные пятна, предвестья ствержений.

Конец — мир гранитов, рассеянность, четкая тишь, немота, завершенность культур.

Тут — конец пейзажу: он — смазался тьмой; огоньками бежало Михайлово.

И — пересадка.

.....
Боржом от Михайлова близок.

Мы сели в открытый вагон; холоднело: высокие местности; хвой растут; перевал недалек (поворот на Боржом близ Сурама). Рабочий сел рядом; поехали в гору; дорога здесь пишет восьмерки; и веяло — смолами; крепкий, дурманящий радостно запах; ослепшие в ярости красок, раздавленные под пятою хребта, с наслаждением купали глаза наши в теми; проколами искорок многоочито уставилась темь; отовсюду подмиг огоньков — под ногами, с боков, выше нас; нет скопления их.

Огоньки — одиночки.

— Приветливо как там моргают!

- Эк!
- А заселенные местности?
- Да: хутора.
- Не бояться хозяева жить: одиночками?
- Чего бояться: вполне безопасно.

Вглядишься — и выступят черные лобины черных гигантов, покрытых лесами, скругляясь на скатах; ущельями сдавлены; высь — синетемная; звезд — не видать; внизу, громче колес поездных, — клокотанье Куры; она — сопровождает с Тифлиса нас.

Сто сорок верст бежит рядом.

Проторчины крепко растут украшаясь разглазьем огней; нам и радостно, и освежительно; мы отдыхаем: от „Тима“, Тифлиса, от яркости гор; хорошо, что ослепли и что ничего не увидим, в'езжая в Боржом.

Только утром, проснувшись, увидим: а что, неизвестно.

— Прощайте же!

На остановке соскакивает наш любезный рабочий:

— Пора?

— Нет еще: тут — завод.

— А Боржом?

— Это — следующая.

— Спасибо!

— Пожалуйста: может, увидимся; я то-и-дело бываю в Боржоме.

Ущелье, сдвигаясь, бросает теперь стаи пятен ярчеющих; пересыпается сплошно крупа световая; в огнях зеленеет черневшая зелень.

И — станция.

Выскочили.

— В исполкомскую!

— Есть — отвечают.

И кто-то подходит, и вещи берет; по аллее бежим; цепки крепкие запахи смол; клокотанье Куры; двухэтажное здание; это—гостиница.

Чисто, светло; даже—вылизано; комнатусечки—малые, скромные; добрый грузин подает самовар.

Мы за полночь беседуем; в номере—дверь: на балкончик; выходим в обстание синего неба; теперь оно—звездное; тихо чернеют громады горбов, нас притиснув.

Боржом, весь, — ущелье.

Клокочет Кура.

Боржом. 25 мая.

С интересом вскочил: на балкон; вот какой он, Боржом; не такой, как вчера; он—зеленый, какой-то весь бархатный, ласковый; справа—горбины зеленые, слева—горбины зеленые: спереди, сзади—они; отовсюду свисают сосною леса, окуряя смолою; лесистое столпотворение; небо—пречистое; нет облачков: свежая тая бодрость.

Проехал автобус, наполненный гамом: галдит молодежь, уносясь по дороге в Абас-Туман (верст эдак семьдесят пять), по ущельям, меж гор, над слетаньями скагов.

Мы—вышли. Боржом—еще пуст; вот какие-то красноармейцы недоумевающе топчутся кучкой; за ними—машина.

— Скажите, как в парк?

— А не знаем, товарищ: приехали сами—сейчас.

Очень узкие, малые улочки; домики—низкие; чисто и благоустроено; все, что для скромных потребностей нужно—здесь есть: лавки, лавочки и парикмахерские; очень много пустует пролеток извозчичьих чистеньких; ждут, чтобы наняли (близких поездок здесь много);

удобнее здесь, чем в Батуме, хотя Батум — центр, а Боржом — уголок; так казалось; дачи — сдаются: записки на окнах.

Тут жить и работать спокойно, хотя б потому, что в зеленом ущелье ландшафт монотонен и скоро прискутится; знаю такие места по Швейцарии; в первый день — зелено и живописно; на третий день — нет новизны; чрез неделю — ландшафт скучноватит.

Тогда-то — работаешь (а в Цихис-Дзири работать нельзя: слишком все развлекает).

Свернули к Боржомке, речушке пенистой; местечко стоит на впадении Боржомки в Куру.

Вот — не парк, а — парчок; миниатюрный, с курзалом (он вытянут в линию по направлению к ущелью); курзал, помещенье для ванн; и — источник; попробовали, — не понравилось: серою пахнет; „Боржом“ что мы пьем, — газированный и охлажденный, — вкуснее „Боржома“, попробованного отсюда; пошли по аллее „парчка“; она — просто дорога в ущелье у берега (той же Боржомки): не так уж красива; но очень — душиста; а вот — водопадик: свергается к ней.

Над Боржомом, венчая горбину зеленую — парк „Воронцовский“; к нему поднялись по дороге, вполне разработанной; шуточно-легкий под’ем; и приятная сухость подхвойной земли; отовсюду ландшафты лесов, хотя несколько однообразные, успокоительные:

— Эти виды мне напоминают Урал — сказал друг.

Мне же вспомнилось вдруг почему-то Герзау; такие ж лесные, зеленые линии гор к Фирвальштетскому озеру мягко склоняются; там я бродил по лесам, но едва не сорвался с крутого отвеса; хотел перерезать винты разработанного (как и этот) под’ема; полез — напрямик: пролез, сажень, другую; перпендикуляром отвес стал; я

начал цепляться за корни и ветви растущих кустарников; лезу и лезу, и лезу; а вылезла — нет: убежал верхний ярус; стена проплетенных кустарников: корни и ветви (без выступов почвы); вниз поглядел — то же самое; вниз опуститься — нельзя: оставалось подтягиваться на корнях и ветвях с риском, выдернув корень, стремглав повалиться в десятисаженную глубину; прокарабкавшись сажени три — изнемог; пальцы стали скользить, выпуская трещавшую ветку, а ноги едва не повисли; подумал: усилие последнее, — если кривая не вывезет, то — я погиб; подтянулся, — и ярус дороги: о край его локтем упершись, я выскочил.

Да, Воронцовский парк — то же Герзау; иль... — Кучино канув в сосну и не видя окрестностей, думаешь, что — в Подмосковной; растительность — та же; и климат — таковой же.

Спустившись, обедали на террасеночке скромной боржомской столовой; а вечером вышли в Михайловский парк (интересного в нем очень мало); среди парка — дворец (то имение „си-деван“ князя великого); нынче — дом отдыха: для совнаркомцев грузинских; дворец осмотрели; он — малоуютным, холодным, сырым показался; по парку плутали, досадуя, что забрались сюда.

Нынче — день отдыха после тифлисской недели и после вчерашних волнующих снов.

Коль признаться — Боржом скучноват (о природе я); тут глядеть — не́ на что; нечему здесь удивляться, но есть чем лечиться: то — воздух.

Пьешь, пьешь его: зелье медовое!

Боржом. 27 мая.

Были мы в Бакуриани; оно — курорт горный, лежащий над уровнем моря на два километра (немножечко менее)

и от Боржома верстах в тридцати семи; к Бакуриани с Боржома—огромный под'ем; путь—Бакуриани-Боржом—почему-то считается дико красивым; „красивость“—красива, нет споров; и все же—высокое манит меня всего более; вот почему все красоты хваленой дороги стоят предо мной декорацией—очень красивой; и—только красивой.

Проехавши станцию (от „Боржом-парк“ до „Боржом-вокзал“), пересели на веточку бакурианскую; и потащились медлительно вверх, вдоль Боржомки, ушедшей от ног в отсыпь скатов—все ниже, все глубже; с открытой платформы стояния гор, их рельефы менялись стремительно; поезд все тридцать семь верст забирается вверх, пишет петли, узлы и восьмерки; окрестности вертятся, точно танцуют медлительный танец; вот спереди—вспертый лесистый гигант с желтосерой, отвесной, безлесной обрывиной верха зубчатого, в небо торчащего; сзади,—откуда-то издали, из-за ближайшей горбины еще неоттаявший, может,—не тающий снег; поворот; и окрестности, перебежавши налево, иную картину показывают: забираемся вверх, прямо к снежной вершине; а стая зубцов, очутившись за нашими спинами, смотрит нам в спины.

Опять поворот: и—в обратном порядке несется обстание; снежный верх, шире открывшись, стоит позади теперь; слезшая стая зубцов—перед нами: навстречу идет.

Все картины—прекрасны; и декоративность—изысканная; видел эдакие я картины уже: близ Монтрё, в Оберланде, в предснежном районе; Кавказ не типичен на этой дороге; скорей—это Альпы, но сорта второго; по всей Сен-Готардской дороге (с Флюелена до Гошенена) окрестности—декоративней, скалистей, грозней.

Верст 17 ползем над Боржомкой; она, провалившись, в ущелье шумит; и опять подбирается к поезду (стёк ее с гор—то покатей, то круче); а поезд взбирается ровно; громадный под'ем—разработан: на каждой версте саженей на семнадцать взлетаем: не более, но и не меньше; дивишься горбатуму морю лесов, будто взвешенных в воздухе: почв—не видать; всюду—гуща нечесанная, раско-сматая, темно-зеленая (уж не тифлисская зелень: швей-царская).

Рóзвертень скатов, открытость низов обселенных и вздернутость верха с прозорами снега во все голубое, особенно глаз веселят от Цагвери, поселочка дачного, и до—Либани, такого ж поселочка, выше висящего—чуть не над самым Цагвери; особенность станций: со следую-щей—предыдущую видишь; лежит под ногами; от'ехавши вкось от Боржома, мы крутим восьмерками—над тем же пунктом; здесь многозубчатый под'ем—в вышину; изме-рение третье дает себя знать; представленья о плоскости—рушатся: овладевают пространством не все; подтифлис-ская дама, сидящая рядом, схватится за голову, дико страдает:

— Мигрень?

— Да,—в который раз: как от Боржома начнется под'ем,—умираю; и—Бакуриани не вижу; под'ем вреден мне.

Странно: вовсе не так велика высота абсолютная; но относительно взлет этот—крут; на Военно-Грузинской дороге разгон поднимания дан; здесь же нет никакого разгона; как тронешься—вверх.

Для иных организмов то—мука: сердца шалят; быстро дыханье спирается, сжимы в висках, в ушах—шумы.

В Цагвери—источник железистый; от малокровия пьют эту воду; источник другой—серно-щелочный—дальше;

верстах в тридцати от Боржома; в Цагвери—ряд дач; отовсюду—пейзажи: прелестные, милые, успокоительные; а для меня основной недостаток всех местностей—тот, что скалистые, голые горы влекут меня более всех зеленющих прелестей; я не сравню их с холмами у Мцхета, которые многим скучны.

Вот Либани, иль пункт кульминации всей красоты этой ветки; кто в Бакуриани не может остаться, чтоб видеть окрестности в ряде экскурсий, советую выскочить здесь, на Либани, побегать кругом, иль пешком опуститься; он выиграет—часа два, а увидит, конечно же, более, нежели тот, кто поднявшись к Бакуриани, как мы, потеряет бесцельно часы. Вот—трезубье отвесов, торчавших когда-то над нами, стоит с нами в уровень: против Либани; меж ним и Либани—громадный, воздушный провал, открывающий скаты, леса, поселения, шоссе, горы, ниже лежащие; поезд стоял здесь достаточно; выскочив, мы подбежали к отвесу обрывистому, с вертипижинами, окаймленными бархатом сосен, зеленым и мягким, коли глядеть издали; несколько станций, прошедших—внизу; очень жаль, что вернулись в вагон, позабывши советы рабочего, нам раз'яснявшего:

— Будете ехать в Бакуриани,—слезайте в Либани: там есть, где гулять; всего лучше обратно спуститься пешком: сход удобен, а виды,—куда интересней, чем с поезда; в Бакуриани вам—ничего делать.

Коли поселиться, так дело найдется; но так, как поехали мы, в обыденку, действительно—ничего делать; совет же преподанный мы позабыли; и севши в вагон, погрузились в леса: от Либани до Бакуриани—отрезан ландшафт; лишь у станции вид открывается на перспективу безлесных вершин; это—сфера альпийских лугов; снег—не стаял; с холма прилегающего подбегает к поселку

растительность пышная: кажется—бук, толстоствольный, громадный.

Читал я, что в Бакуриани разводят альпийскую флору; есть Сад Ботанический; мы, к сожалению, не были в нем; потому что полезли вперед—наугад; и завязли в лесу, все закрывшем; к тому ж запыхались от быстрой ходьбы; застучали сердца; и—обратно; а время—потеряно; поезд всего полтора часа ждет; и потом—опускается; страшно пекло и душило земным испареньем; откуда-то гром разворчался.

Так несколько разочарованные, ни на что не смотрели; а надо бы здесь ночевать; и потом попытаться взойти на покрытую снегом вершину Цхра-Цхаро (потухший вулкан); с него виден хребет от Казбека и до Эльбруса.

Подходит сюда Дикианский хребет.

Мы уж катимся вниз через скалы, откаты и пропасти; снова попутно пленило Либани; уж—ниже поехали; понадвисали с огромных высот гребешечки зеленые сосен на ниточках-стволиках (только что были на уровне их: выше уровня их); а вдогонку от Бакуриани бежала гроза; гром рычал по уступам, спеша нас нагнать; тучи—срезали быстро места, на которые в Бакуриани мы сверху смотрели; в Бакуриани—погода хорошая часто; стоит, встав над тучами, этот поселок: осолнечен; но и в Боржоме—порою в то время погода хорошая тоже; а между Боржомом и Бакуриани (с района Цагвери)—дожди.

Потому-то, быть может, нас дождик смочив у Цагвери, прошел под Боржомом; и все же: погода испортилась; вечером шли вдоль Куры по гладчайшей шоссейной дороге,—к деревне Ликани; дорога бежит мимо парка с дворцом (все именья великих князей); там—развалины монастыря; за Курою,—развалины крепости.

Дождь нас обратно погнал.

С нас Боржома—довольно; в нем можно лечиться, в нем можно работать, не видя природы; иль можно мелькнуть в нем, как мы; жить с неделю, в гостинице,—скучно.

Цихис-Дзири. 5 июня.

Опять Цихис-Дзири; и—то же: восторг пред красотою; и—ледяной ветерочек средь влажной парницы; хотя погружаемся в волны: купанье беспроко; утра—голубые; с одиннадцати серомертвый туман прибегает из гор, чтоб над нами надвесясь, томить; а верстах в десяти—нет ни облачка: ясь, солнцепеки. А пляж кобулетский—облецен; Д. И. нам пытается климат хвалить, чтоб утешить; его утешенья не действуют вовсе. Он сам обрывает себя, улыбаясь, машет рукой; и—кончает хвалы упокоями; ловишь, как рыбку, улыбки сияния, чтобы подставить им тело; оно—полосатое: от поцелуев мгновенного солнышка: краснобагровый ожог на спине; лицо—черное; лысина—бледная (лысину прячешь); а ноги—мертвы и бледны; на низ взглянешь, чтоб Брюсова вспомнить: „Закрой свои бледные ноги“. Закрой,—потому что простудишься; просто раздеться—нельзя; но и просто одеться—нельзя; и одежда твоя, как и ты—полосатая.

С двух часов дня бледносерые тучи, упавшие с гор, начинают дружить; с четырех—неприятнейший холод; к закату—стремительно высь проясняется; явно теплеет часам к девяти, так что ночь—добродушная; все здесь—„на выворот“.

В путеводителе сказано: „Русские тропики“; сказано: в климате здесь—переключка с Цейлоном; не думаю, чтоб на Цейлоне стучали зубами; и—сказано: „дивно-лазурное небо“. А вот—где оно? Серый войлок; а небо увидел бы, если бы в лодке от’ехал бы верст на пятнадцать.

За то—сад пылает; в одной половине—пурпуровый он: водометы недвижные роз повисают; та часть—за верандой пред нами сад—белый: цветут апельсины, лимон; упоительные „Digitales“ соцветья свои нежнорозовые всюду выкинули; из агавы прет толстая палка: соцветие то же: агава цветет перед смертью; ей—двадцать пять лет уж; она—собралась умирать; здоровенная палка (с сажень)—лебединая песня.

В об'емистом тазике белая чаша магнолии запахом (смесь ананаса с лимоном) почти отравляет нам воздух; цветок еще можно держать при открытом окне: а закрой—угорел: мы выносим его на веранду.

Под вечер в горах заревели слоны: повалил ураганище, сверху свергая свои раскаленные струи, спирая дыхание; ставни закрыли, чтоб часть дневной свежести спрятать: за окнами можно свариться; и ласточка черная, с визгом юркнув к нам в окошко, сидит на багете.

Через час—прохлаждаемся в зори; жучки-светлячки позажгли затемнившийся воздух рубиновыми искрами; к нам залетают с веранды; в углу искра, быстро крутясь, завинтилась спиралькою; и—чирк-чирк: в окно, в темь вечера.

Я эти дни переписываюсь с устройтелем лекций в Тифлисе; мы здесь—на отлете: дорога Военно-Грузинская манит.

Мой друг усмехается:

— Местностью вы восхищаетесь, а—не воспели ее: напишите стихи.

Я же—не воспеватель: и, кроме того: воспеванья мои—моя проза: я местность—описываю.

„Путевые заметки“ (2 тома)—поэма моя о Египте, Тунисии; пробовал раз написать о Радесе, арабском поселке, где прожил я, стихи; а вот рифм не нашел: рифмо-

валось „Радес“ и „Гадес“, или „радость“ и „гадость“; в Радесе же гадостей не было: не написал о Радесе; сла- гались уродцы—не строчки:

В Радесе нет гадости:
Все одни радости.

Больше не выдумал.

— Все ж—написали—бы: вы посмотрите, какая ла- зурная ночь и какой там Юпитер.

— Попробую.

Лезет лишь дрянь:

И мне бамбук дарит Батум,
И Чаква угощает чаем.

Бамбучий подарок—прекрасная палка: ее подобрал на дороге.

— А далее что?

— Ничего.

Цихис-Дзири. 7 июня.

Дни—тревожные очень: разрыв назревающий с Англией заговоры, шпионажи; угрозы—кругом: провокация и пере- ходы границ; все—врывается в личную жизнь; Батум— важный, ответственный пункт: 1) место вывоза нефти, 2) граница; поэтому, может быть, и ощущаем мы тяжесть военной горячки сильнее, чем где-либо,—здесь, под Ба- тумом.

Все дни перед нами—эскадра: какие-то манипуляции; то стоит цепь пароходиков целый день: издали; утром, дымя, в Цихис-Дзири приходит, повидимому, канонерка: проделывать что-то; дымнувши, уйдет — под Батум; ночью по-морю вспышки прожекторов бегают.

Пишут: в окрестности скоро начнутся маневры, в которых участие примут морские, военные, профессиональные и комсомольские силы.

Когда мы приехали, было здесь пусто; теперь показалась приезжая публика: вижу тела—мертвобелые, иль ярко-розовые, обожженные сверху, еще не сожженные; с холмика спустится к пляжу мертвец белолицый; и знаешь—москвич, ленинградец; наш маленький флигель при доме отделан; когда мы приехали,—скот здесь стоял; появились три дамы; но мы—не мешаем друг другу.

Нет отдыха в эти тревожные, грозные, знойносырые деньки; и наш отдых скорей—поза отдыха, напоминающая нам гримасу улыбки.

Мы рады заранее, что мы уедем в Тифлис.

Цихис-Дзири. 8 июня.

Каждый день, пред закатом, когда отползает туман, солнце сходит, бросая златистые сети оттенков над морем, когда умиряются скорби четвертого, пятого часа (часы, когда скорбь нападает) и ветер теплеет,—потянет к высотам: на нашу дорогу.

Легчайший под'ем!

Мы идем сквозь деревья к границе участка Ростовцевых, через зеленую гущу бананных знамен, бамбуковых, расперых вершинок,—на горную тропку к соседней, высоко белеющей вилле; оттуда взгорбленье подножия крепкой пятой наступило на холм; спуски к морю—ровненькие холмов: по террасам; весь ряд наших дач образует террасу; сидит же она над террасою; и—под террасою; холм—на холме: под холмом; местность эта, схватятся холмами, есть ряд многохолмий, слагающих гору тяжелую; ты, обитая в одном из участков ее, никогда не увидишь рельефа действительного, пока сверху не взгля-

нешь на мир, под тобою лежащий; увидишь отдельности в очень превратном стоянии их друг пред другом; понятия „высоко“ и „низко“—утоплены; все — относительно в мире холмов.

Наша дача и дача над нами — двуххолмье; холмы слиты в верх двууступчатый; мы живем в выступе нижнем, где с трех сторон — скат; лишь с четвертой — тропа крутоватая к чернокоричневой мрачной аллее из кедров, с которой крутейше отваливаются коричнево-черные земли; тот верх занесен омрачающим душу раздумьем над нами; на нас — его тень; его земли, тяжелые днем, в час зари — золотокарие; сборище дымных клочков очень часто толпится в вершине; тогда митингуют оттуда ветра, тогда земли — пятно почти черное, густо мрачащее нас, задирающих головы снизу на вѳи; когда ж разбегутся туманы, то верх обнаружится; видим: над кедрами встав, мавританское здание белого цвета — ответственный пост занимает: над всем Цихис-Дзири.

И, кажется — пункт высочайший: иллюзия!

Холм, с нами смежный, приподнятый из-за ущелья, есть тоже: тычок многохолмья; над ним — обнаженные груди кровавых утесов свивают косматую зеленую непроходимых лесов (вновь — иллюзия); там есть дорога; и — вилла; когда к ней взойдешь, то поймешь: мавританское здание — под виллой; аллея из кедров — низехонько; стая же наших вершин, второй ярус, оттуда — упал: прямо в море; „Дом Отдыха“ — розовый, к морю сседающий дом (ниже нас) — от багровых утесов не виден; и думаешь, что первый ярус утоплен в волне (отвалился в обвале); от моря ж — обратно: утопленник — очень высокий, отвесный утес, весь заросший павлонией, фигами и рододендром в сплетенье лианном; а розовый дом — ушел в небо: не виден, как все, что над ним (с нашей дачей); все то, запрокинув главы, кажет морю лишь пятки.

Да,—перемещение всех перспектив удивляет.

Итак: мы живем на двухолмии, вполне отделенном ущельем; за ним—мир треххолмия: красные груди далеких утесов, невидная вилла при них, вилла смежная с нами—венчают три яруса, севших на плечи друг к другу; треххолмие это ярчеет; здесь земли становятся в засуху розовыми; красным криком они голосят в дни сырые, связуясь во мне со строками:

Краски огненного цвета
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он в бездне света
Красный, как огонь.

Перегорбленный клин, круто сброшенный с верха приоблачного вблизи нас, еще ниже летающий к морю, стоит в бездне света, крича своим пламенем древней Колхиды—туда, в шири вод, обращаясь к плескучей ладье, может быть, аргонатов, качаемой в зыбь:

— Руно золотое есмь я!

Но ладья, разрезающая воды моря,— без паруса; это—моторная лодка; и в ней—краснофлотцы, наверное.

Наше двухолмие—иное: златистокоричневое; от подоблачнойвиллы, темно опоясанной кедрами, земли мрачнеют коричнево; и, опускаясь к нам, покрываются золотокарим налетом; а там—золотые утесы из дали далекой торчат,—золотые от... охры; в игре освещенной, сквозь зелени, золото, пурпур, золотокарие тени, играя друг с другом отливами, в голубоватой прозрачности передвечернего тона являют романтику неопишущую.

Сквозь бананник, отперши калитки, мы тропкою золотокарей взбираемся среди чаев, олеандров к коричневостволой кедровой аллее; отсюда отчетливо нов весь рельеф поворота: двухолмие—в море протянутый мыс, перерезанный ниже ущельем (с шоссейной дорогой)—под

вскнувшей, белой магнолией нашего сада, к которой спускается цвет флер-д'оранжа; кусочек отреза—как бы отвалился при море с развалиной, серые зубы оскалившей из виноградов.

Прекрасен огляд—перед кедрами; влево и вправо—лазурь: небо, море; щербатый наш мыс, упadaющий в пещу раздавами каменносерых и каменночерных кусков,—остался за спинами; перед глазами—взворот из коричневоотемных горбов и оливковохмурых стемнений, ведущих под небо; вечерний, густеющий луч окаряет и темное золото вспрыскивает в это все: даже зелень кедровая—в золотокарем тумане; вступаем: в коричневоотемной тропе под кедровую сенью стоит странный свист; это хвои раздумались; в думы свои, точно в тени, одели; привал на скамейке, прибитой к стволам, над отрывами почв темнокарих.

Таков верхний холм двуххолмистой горбины; отсюда мы смотрим на дом наш; и видим, что он есть подножие; он же—вершина, с ущелья, в котором хохочет шакал; выше нас—те же земли над кедрами; и мавританская белая башня оттуда в лазури торчит:

— А со вкусом построено!

— Декоративно.

— Продумано все до оттенков посад.

— Сочетанье природы с культурою вкуса творит чудеса; посади тут драцены, бамбук, эвкалипт,—было б вовсе не то.

— С него убрано все,—может быть для того, чтобы выделить темные земли, как фон для кедровой аллеи.

— Да, но ... мрачновато.

— Скорее,—задумчиво.

— Бывший владелец наверное был меланхолик.

Послушавши в темнокоричневом сумраке посвист унылый,—мы выше идем: в блеск и в крик.

Мы—на уровне виллы; она—позади; кедры—вон: под ногами; срыв—вправо; срыв—влево; под срывами стиснутой справа и слева клещами морскими цветов незабудковых—мыс, состоящий из разного рода падений и сбегов; уже обвалились в пучину морскую и дача Ростовцевых, и дряхлолетняя крепость, и розовонезный „Дом Отдыха“.

Спереди—сломленный, перекирвленый под'ем к пламенеющим скалам: двуххолмие карее с красным треххолмием слиты—во что? В пятихолмье проторча гигантского: нет,—в счет холмов я не верю; быть может, тут—десятихолмие: метаморфоза—стремительна; через шагов пятьдесят все меняется; что тут провалится, что проторчит—неизвестно; отсюда тропа ведет красными сходами вовсе не к нам, а к соседям, взлетевшим пред нашей верандой из рододендров ущелья; идем к пламеносной скале, крытой темно-зеленою плесенью; перемогаем глазами провисшую сеть облимоненную ароматами желтозеленых цветков; вправо—встали огромные горы небесного цвета, (от дымки вечерней)—семьею рогов голубых; на груди голубого утеса встревоженно бегаёт чёрный клочек; чаще—густо грозитя косматая туча; над стаей рогов привстают страннобелые головы, снизу невидные: Турция! голуборогий рог этот тому назад двадцать дней был белорогим; снег—стаял; когда потемнеют вершины турецкие? Может быть, — к августу?

Станешь,—и ахнешь: припоминается Делакура почему-то.

В скривлениях лезущей кверху дороги проходим по груди багряных отвесов, отрезавших горы, рога голубые, и те, белоглавые; круто повернуты мы—над провалом,

стечением ущелий, отсюда разбившим рельеф на горбины, подгорбия, горы; то все—под ногами: меж нами и морем—воздушный простор, голубящий и море, и земли, и зелени; море—цветов глубины, недоступных для зрения с берега; коли там громкие волны, отсюда—ничтожная рябь; коли волны обычные,—зеркало, слитое с воздухом... в воздух; и—вставшая феерия всех зеленей, где гигантские стаи серебряностволых чинар, эвкалиптов—игрушечки; их бы ребенку на столик поставить; аллея кедровая—темной каемочкой моха малеет из низа; висенье лиан, все безумия танцев вершин, чьи стволы тают в воздухе, кружево это воздушное взвесилось криком оттенков сиреневых, голубоватых, чуть розовых, желтых, оливковых, дымчатотемных и черных; встав здесь,—неотрывно под ноги глядим, где все виснет в сквозной бирюзе,—и морской, и небесной; зажмурим глаза,—это все окунается в белосеребряный, голубоватомутнеющий воздух, смесивший далекую зелень с далекими водами.

Фантасмагория!

Сверт.

И опять—перетряс перспектив: сто шагов пробежал,—моря нет; где сейчас отверзалась лазурная бездна,—дичь зелени, рядом шумящей, с горбов претяжелой земли с рядом кражистых дач, их калиток и надписей: „Дача профессора (имя рек)“, а—не лазурная бездна; над бездной уселся профессор с хозяйством своим; для удобства же отгородился от бездны горбами холмов; там же, где прижимали к себе нас кровавые скалы,—обрыв глубочайший с открытием темных аджарских лесов под ногами; за ними, в двух-трех километрах—под’емы хребта; и те горы, вершины которых привстали над грядами, коли глядеть от Ростовцевых,—все на ладони, с подножий: всклокочены лесом, ожелчены плешами; всюду от плешей—

дымки, крыши домиков; там живут горцы, подставивши спины к морским побережьям; и обращенные к Турции, к Чороху, к Абас-Туману; ландшафт этот чем-то скликается с видами вблизи Сурама; не скажешь, что море есть где-нибудь; там, вероятно, проходит шоссе вглубь Аджарии, к Абас-Туману (длиной—в полтораста верст: кажется, — автомобили там бегают).

Перед Аджарией вновь остановка.

— Нет сил оторваться!

— Романтика!

— Фантасмагория!

Сверт.

Идешь в гущи сквозь мраки и прели; и там—голоса: там—живут; и там—дачи с закрытыми видами; но—не надолго; и—новый разверт вышины, голубой и воздушной, в которую врезалась красная масса земли, чтобы броситься в море: с размаху; налево слетание всех зеленой с видом Чаквы, прибрежий, Зеленого Мыса, Батума.

Опять: остановка.

Отсюда возможно винтом разработанных сходов вернуться домой; по шоссе — „Кобулеты-Батум“, —попадая в ущелья, в гущобы, в дурманные запахи желто-цветковых лиан, олеандров, магнолий, павлоний, роз, где те же справа и слева просторы сменяются грубо припертыми скалами, где та же дача увидится—над головою, потом—под ногами (ты долго винтишь вокруг нее), где соседняя с нами бугрина, не слишком высокая, кажется то многохолмьем, то горбиком, где в расстояньи тридцатиминутной ходьбы разговаривать можно с верандою нашею, севши напротив, и после, ее потерявши надолго из виду; там—пояс тропической флоры: макет для балетов Дидло.

Часто ходим по нижней дороге, винтами, до этого перекрещенья дорог.

Но возвращенье приятней по верхней дороге; в слетающем сумраке тускнут аджарские горы; пурпуровый отсвет утесов, аллея кедровая, зелени, спуск меж чаями,— все мреет, одевшись в вуаль колоритов, сающихся в грустный, приморский дымок, над которым сверкает Юпитер.

И тяжести жизни, и все неуклюжести климата смыты дорогою этой; не раз, и не два мы свершали вечерний пробег; и вернувшись с прогулки, сидели взволнованные, точно мы пережили событие.

Да, Цихис-Дзири останется в жизни сознания незабываемым местом.

И в памяти ляжет нагорною проповедью о природе букет перспектив, обозримых отсюда.

.

В Московской губернии запах садовый — медовый; здесь запахи — свежий настой: благовонный, лимонный; пьем чай; и — пошучиваем:

Мой товарищ, курнув добродушно, поддразнивает:

— И теперь, после видов увиденных вы остаетесь при ваших строках:

И мне Батум дарит бамбук
И Чаква угощает чаем.

Что поделаешь: силюсь придумать к написанным третью строку; и — вот: натыкаюсь на рифму „б а м б у к“; и выкидывается в сознании чудовищность:

Вам бук шлет — розог пук.

Но это — „Вампука“; „бамбук“ мне испортил поэзию; прут из него — только дряни; нет, памятью о Цихис-Дзири останется вовсе не стих, а коробочка с красной аджарской землею: сегодня ее наскоблили мы; буду

глядеть в этот цвет, когда вьюга за окнами переметет мою тропку в январском серебряном Кучине; может,—тогда вдохновенье сойдет на меня; и одним романтическим стихотворением будет богаче подлунная.

Мы продолжаем за чаем отчаянно вздорить; и я развиваю:

— В романтике многое — ром; и романы их—произведения рома; роман Тика—романтика; слово „романтика“—вывернутость „А Кит на-море“; „е“ появилось в наборе: наборщик приставил; романтика Тика, который отдавши рому, принял за Кита островок и отчалил в стаканчике рома к нему. Так явился в поэзии остров Цитеры; нет, я не хочу прибавлять островов и земель романтических; пусть Цихис-Дзири останется мной невоспетым.

Цихис-Дзири. 10 июня.

День тьмы: разнелепица снов (в Цихис-Дзири везет на нее); я скачу вниз по круче; на шее сидит подорожный эстет: наслаждается видами, эстетизирует, курит; а я спотыкаюсь под бременем, прямо свергаюсь в кухню московской квартиры, в которой живет мой товарищ; и мать его горько меня назидает: „Всегда вот вы так: вы—изломаны с детства“; я ж думаю: „Вовсе не с детства, а—с горя.“ И тут—обнаружилось: палка осталась на горных отвесах, к которым карабкаюсь снова по... кухонным плитам: под сажу; вдруг—сверху погоня: разбойник, Учан, в ледниках залегающий, слыша меня, на меня с гор спускается; я же—обратно валюсь: под откосы, где—Крым открывает курорт с очень громким заглавием: „Выроины, буераки“; и в тех буераках Волошин живет; и гостей принимает (среди них Балтрушайтис,—поэт и посланник).

Проснулся, ругаясь, а задремал,—второй сон: я пытаюсь знакомому установить степень разницы между рассудком и разумом; деятельность рассудка,—мной изображается так: я сажусь на паршивенький велосипед трехколесный, стараясь катиться без рук, управляя другими руками... протянутыми на подобье рогов: с головы; а обычные руки держу за спиною; то—значит: контроль размышления над аппаратом движений—есть; кто-то громко меня поощряет: „Так, так: замечательно!“ Дело доходит до разума: тут изменяю я тактику действий: руками я строю из воздуха над головою—фигуры отчетливые; выясняется разница между „Verstand“ и „Vernunft“, о которой проспорил: Кант, Гете, Гегель. Вопрос разрешен мной впервые: мне—ничего делать теперь в мире сна; водворив там порядок, спешу пробудиться в скрежещущую дисгармонию ставен, терзаемых воющим ветром; дождь—хлещет; и пальма—кидается в окна.

Спускаюсь с башенки—вниз.

Натыкаюсь на О. А. Ростовцеву.

— Я—из Батума, Борис Николаевич; и—не одна, с вашим гостем—грузинским поэтом: он—хочет вас видеть.

Я—в диком испуге: страшнее всего для меня явление „поэтов“; куда ни приедешь—„поэт“: не один, а с огромным пуком, чтоб читать; я—молить: „Вы оставьте стихи.“ Оставляет: стихи—никудышные; и—начинается пытка: в огромнейших письмах он требует критики; он—обвиняет меня; покрывает сарказмами: от головы и до пят; виснет крик его над разгромленной моей головою—ряд месяцев; знаю его: он повсюду—один: отовсюду является; в Нижний приедешь—он в Нижнем; в Саратрв—в Саратове; из цихис-дзирской чашобы, подкравшись, как тигр, в бамбуках, он теперь вылезает, грозя пуком строк, туго

свернутым в крепкую палку; я—знаю его; он по виду—с иренен и бледен (покатые плечи, грудь—впалая): „Не помешаю? Минуточку!“ А, просидевши часы, начинает гоняться—по месяцам; опыт давно подсказал, что одно есть спасенье: озлобленно выскочив, буркнуть: „Я—не принимаю поэтов!“ Тогда—он уйдет: и все будет—прекрасно; но если обмякнешь—беда; он—погонится; раз получил два тюка: с морем листиков; и—с объяснением мне: я де есмь гениальный, великий, единственный; я—промолчал: получилось второе послание: в нем раздраженно указывалось: я напрасно молчу, когда дело имею с натурой—поэтки; она нас, раздувшихся выскочек,—может на место поставить; но я—не ответил; послание третье, толкующее утонченно молчанье мое: „Примири-тесь, союз заключивши и в царстве поэзии размежевавшись,—будем царить“. Не—ответил и тут я: посланье четвертое—требование, чтоб вернув тюк стихов, оправдался (еще—время есть); так тянулося—в месяцах; и наконец, был настигнут однажды я бледною девушкой, или—„принцессою“ (так называла себя она в письмах).

За мною гоняются с требованием и с угрозой: извольте читать; знаю, что это значит: „Поэт к вам приехал!“ Меня—не обманешь! Со страхом я высунул нос на веранду, чтоб видеть того бледнолицого юношу с вдавленной грудью, с покатым плечом, с лихорадочным блеском робеюще-дерзких зрачков и с толстейшею палкою свертка (им—бить меня); мне же навстречу с улыбкой поднялся высокий, спокойного вида с лицом загорелым брюнет, с умным острым лицом, в черной шляпе с полями, с усами подстриженными; и без свертка толстейшего; с тихим достоинством неторопливо и сдержанно он подошел; и немного конфузясь, представился мне:

— Я—Яшвили,—простите Борис Николаевич, может быть я—помешал вам, но я—на минуту: просили меня устроители лекций вот это письмо передать вам.

И—ласково он улыбнулся: конечно,—узнал его сразу; сказало мне имя: один из крупнейших художников слова, краса поэтической Грузии, старший среди братьев культурной семьи, о которой не раз слышал прежде: и от Городецкого, и от Есенина.

Я протянул ему руки:

— Сердечно рад вам: откровенно простите....

Тут, кажется, чистосердечно признался Паоло Яшвили о страхах меня обуявших, при слове „поэт“. Ну какой же Яшвили—„поэт“; он—поэт, без кавычек: хотя по грузински не знаю, однако, Паоло Яшвили читателю русскому дан в переводах, хотя и плохих; о нем писано много; недавно читал резюме его речи в тифлисской газете; читал о нем—тоже; большой человек, с кругозором широким, с отточенной мыслью, с культурою чувств, сквозь которую видится крепкая статья отчеканенной выдержки.

С первого слова Паоло Яшвили мне стал и понятен, и близок; казалось: года мы общались; он знал ведь по книгам меня; я—узнал его сразу:

— Я только проездом в местах этих: дачу ищу в Кобулетах себе; потому и решил к вам заехать, тем более, что упросили письмо передать; этим случаем пользуюсь, чтоб познакомиться с вами; Борис Николаевич, и я, и друзья мои литературные—с вами знакомы.

Я сам искал случая ближе узнать своих братьев грузинских по творчеству; я о них слышал давно; может быть, от Бальмонта еще, когда он проповедывал всем Руставелли; я знал, что Тифлис есть культурнейший центр поэтический; помнится, что в 21-ом году еще, после рассказов С. М. Городецкого, передававшего мне

приглашение приехать в Тифлис,—я тянулся душой к поэтической Грузии; но—являлась препона: мой путь протянулся на запад; свидание с „братьями“ в сфере культуры искусств отложилось надолго.

— Ну—вот: мы и встретились.

Очень уютно с Паоло Яшвили покуривая, мы вспоминали знакомых; он с добродушной, тонкой улыбкою мне рисовал устремленья и быт поэтической Грузии; и мы говорили о том, что в Тифлисе мы ближе узнаем друг друга.

— Борис Николаевич, мы, „Голубые Рёги“, надеемся, что состоится не раз с вами встреча; позвольте пока передать вам привет от друзей моих, ваших читателей: от Тициана Тобидзе, с которым давно мы работаем вместе, как и с Робакидзе.

Яшвили—обедал у нас, день провел; атмосфера, которою он окружил нас, теплилась, когда он уехал: и жили слова о старинной грузинской культуре, о новой, о Пушкине, о символизме, о Гете; Яшвили в Париже жил до войны; был когда-то ценителем Артюра Рембо, Маллармэ, и других символистов: французских и русских; дивился, как знает он русскую литературу; его замечанья о Блоке, Бальмонте и Брюсове—тонки, отчетливы, трезвы; он много себе уяснил: в нем поэт и общественный деятель слиты; он, став на советской платформе,—живет в современности, соединяя в себе революцию быта с кипением лучших порывов вчерашнего дня.

Посещение — обрадовало: любовались Яшвили; простились с мыслью, что скоро—увидимся; он на прощанье сказал:

— Удивлю я товарищей, что Андрей Белый—веселый, здоровый и крепкий.

— А вы ожидали, небось, встретить „мистика“—не без ехидства ему улыбнулся.

Яшвили сконфузился:

— Знаю, каким представляется Белый: больной, истеричный, с горячечным бредом,—не словом: что делать—карикатура такая в десятках лет тенью за мною протянута; вы—не последний, не первый, увидев меня, удивляетесь: уж и создали „химеру“; посмотришь на собственный лик в „Кривом Зеркале“—плюнешь: такая там погань глядит на тебя.

— Да, признаться,—и мы, вас ценящие, все представляли заочно...—смущался Яшвили—немного...

И тут он запнулся.

— Гнилым? Что поделаешь: Белый—разложен по мойкою; даже друзья моих книг на меня переносят порой припах вони, которой меня обливают.

Простились.

Цихис-Дзири. 13 июня.

Все эти дни—вычисляю ритмический жест; „Медный Всадник“, исчисленный строчка за строчкой, простерт на полу в виде острых зигзагов кривой, занимающей около двух саженей; я же, сев на карачки, вожу по кривой карандашиком; в окнах—лазурное небо; погода—прекрасная: не до нее; ждал ее слишком долго; когда наступила,—то два „философских“ суб'екта подставили спины ей; друг мой погиб над работою: то же.

И кроме того: мысль волнуется темой одной из двух лекций: „Читатель-Писатель“.

Зачем мы, писатели, пишем? Читатель об этом имеет превратные мысли; он думает: „А“ или „Б“ написал: икс влюбляется в игрека; мог бы детей учить, строить мосты; а он—пишет: „чудак“. Средь людей трезво мыслящих, пишет по жизни кривые бессмылицы; я заполняю анкету,—в участке Европы: „Вы пишете?“—„Да“.

Недоверчивый взгляд (в лучшем случае пренебрежительный): тот, кто слоняется праздно,—платок из кармана утащит; подглядывать станет: да он—не шпион ли? Узнавши, что я—„псевдоним“, одна дама спросила меня за границей: „А как вы с полицией?..“ Я объяснил: инженер Гартенберг был „Новалис“. Иные конфузы вставали, когда не хотелось мне „Белым“ являться.—„Писатель Бугаев... м... что-то не слыхивал!“ Взгляд: „Вероятно—ворует“. Скажи просто „Белый“—и все объяснилось бы: „Есть такой: пишет, ругают; обиженный богом.“ Писатель „Бугаев“—переподозрительно!

Что заставляет годами стоять в подозрительной позе, терпя ряд двусмыслиц? Есть что-то, повидимому; Гартенберг не стремился рыть шахты, но „вирши“—писал; инженер Достоевский возился с романами; „врач“ Вересаев забросил врачебную практику; Е. И. Замятин, построивши нам ледокол, „повестушками“ тешится; мог на заводе стать химиком я; а ведь вот—сочиняю „сплошную туманность“: детей—не учу.

Взять с другой стороны: „Что?“—„Читаю я.“—„По специальности?“—„Нет“—отвечает читатель, конфузясь—„почитываю на грядущий, на сон!“ И—писатель пописывает, потому что читатель—почитывает: физиология! В физиологических актах есть смысл: Наркомздрав—разъяснит; и почитывание входит в функции жизни; писатель—оправдан; с курортом и спортом „почит“ входит: в быт; Менделеев „почитывал“ легкие книжицы летом; они помогали ему восстанавливать мысль, рисовавшую ритмы веществ.

С оправданием литературы—покончено, а обыватель стоит на своем; и писатели, точно собаки бездомные, бродят по жизни.

Но спросят: „А как же с заветами критиков, нам

оправдавших значенье писателя?— Ведь от Белинского до Михайловского слышали мы о значенье таком; было писано—к интеллигенту; пошел—иной спрос; обыватель окреп, уплотнившись в массу, в которой уже разварился читатель былой, пустив сок „социал-обывателя“; это случилось—в конце предыдущего века; с тех пор оправданья писателей, данные критикой „светлых заветов“—не действительны; в логике нового сплава; эпоха „заветов“—музей социал-обыватель—не заходит в музей.

Ему объясни-ка—по новому!

„Почитывающий и писатель“—вот лозунг: „Тебе заплатил пятак, чтоб легко, занимательно было, чтоб—на пять минут; ты ж суешь мне какую-то трудность: читать не желаю!“; а с „критикой светлых заветов“ к нему не подъедешь; пора „просветителей“—кончилась; нужен писатель—хирург; и тем более, что соглашательский критик—пошел; он ведь „ндрав“ „социал-обывателя“ в бумаженочки нежно обвертывает; почитает бумажку читатель,—и слезы прольет: его „ндрав“ объяснен благородно; ведь надо, чтоб масса читала—понятней писать, по газетному: все понимают газету. И вот сов-буржуй, подпираясь критиком, громко—орет: „Чтоб понятно! И чтоб—для трамвая!“

Что же делать?

Пописывать?

Спрос тот сломил ряд писателей: без хирургии нельзя обойтись.

Писать, внятно, как пишут газетчики? Это—фальшивка; Владимир Ильич выражался при чтенье газет: „На каком языке это писано? Тарабарщина... воляпюк, а не язык Толстого“¹⁾.

¹⁾ Из статьи Бонч-Бруевича „Как работал Владимир Ильич“ („Читатель и Писатель“ № 7).

Газетчики и сов-буржуй, воляпюк тот усвоив, шатают язык: он им стал непонятен; открыли бы Даля они—разразились бы с фырчами: „Чушь“! Вот отрывок статьи Бонч-Бруевича: „Он (т.-е. Ленин) хотел... иметь словарь русского языка Даля“, часто увлекался им, читая его и высказывал свое восторженное изумление перед... образными выражениями русского языка“. За него я терплю много лет и от критика, и от буржуя; в одной из газет, критик, звавший к понятности, выписал дичи словечек моих; эта дичь, им отмеченная,—слова Даля.

Но Даль стал нам—„гилю“: „почитывать“ Даля, учиться у Даля—фи-фи!

Но и: штука нелегкая—Гете, иль—Пушкин; ведь первый—невнятен; второй—„устарел“; социалист В. И. Ленин волнуется Пушкиным; Маркс с восхищением берется за Гете; об этом газетчик не пишет. Зачем социал-обывателю знать это?

Нынче понятие „масса“—двусмысленно; и означает „массивность“ брюшка сов-буржуя; он, втертый в понятие „массы“, от имени „массы“, за „массу“—кричит; „масса“, взятая географической суммой—косность, и козырь в руках обывателя; он подменил выражение „организации“—„массой“.

Скажите, что делала „масса“, когда шла работа в подполье? Спала: в это время работали—партия, „организация“: в малых ячейках; а „масса“, иль сто миллионов, сидела и горе свое заливала; иные... растили брюшко; „массе“ Маркс непонятен был; так почему же писатель был должен топить пониманье до „массы“? Я думаю—организовывать „массы“ почетнее нежели ровнять пониманье до „массы“—в той „массе“ читателей, где эта

„масса“ сама лишь прослойка среди массы безграмотной стало быть: русский писатель истекшего века был должен учителем грамоты стать?

С такой логикой мы приходим к абсурду: не нужно науки, ни—литературы; коль нужно и то, и другое,— понятие „массы“ утоплено; вместо него появляется организация, разности функций, градация школ: ступень первая, ступень вторая.

Когда б Ломоносов в село Холмогоры вернулся,— читать земляков научил бы наверное он; но наука российская с места не сдвинулась бы; русский стих, перекинутый от Ломоносова к Пушкину, распространившийся в массах народной частушкою—нет, не сложился бы: студия же стиховеденья и рассужденья о том, что такое „пиррихий“—между Ломоносовым и Тредьяковским, казались невнятицей даже не „массам“, а читателям виршей.

Итак скрупулезность словесных разглядов сказалось в столетии: организованной речью—для масс; так и ныне: в рабочих ячейках над словом и в организации массы по студиям скажется новая фаза словесной культуры; ячейки—питомник; в них всходит рассада—для гряд; и она—не в газетах, способствующих „эсперанто“, пошлятине, определяемой Лениным, как „тарабарщина“.

На „тарабарщине“ мы говорим; ею учатся „массы“; но „демократический“ критик, кричащий о „массах“, не только молчит о падении навыков в речи среди массы: ему—аплодируем; и от писателя требует он, чтобы вкус социал-мещанина имел потребление, чтоб Даль—звучал „гилью“ и чтобы безвкусицы „в общем и целом“, „пока“, „пара дней“, стали б словом художественным.

Как же быть с Ломоносовым, с Лениным, с Горьким? Чего Горький требует? „Так же, как токарь по

дереву и металлу, литератор должен хорошо знать свой материал,—язык, слово¹⁾.

Почему молчит критик, кричащий о „массах“, тут именно: да ремесла он не знает; и знает, что „масса“ — не знает; итак, спекулируя на незнании „масс“, скрыв убогость свою, мажет сладкою лестью по дутым губам социал-обывателя, травит им „спеца“; и рот заклепавши не Марксом—„марксином“, фальшивкою—жуликовато жонглирует лозунгом: „масса“.

Влюбляясь в Пушкина, видим миры не прочтенных красот; надо спрятать их? Я полагаю, что—нет. А по критику—надо; и вот он кричит: масса стала сознательна и поняла она Пушкина; коли понятен стал Пушкин,—так это работа столетия: пушкиноведов, поэтов, действительных критиков, в меру втолковывавших понимание, ставшее общим в двадцатом столетии: в нас; тут—работа Венгеровых, Брюсовых, Лернеров, Щеголевых,—и поэтов, и профессоров; она шла от ячейки сознательной,—к массе: от „партии“—к всем беспартийным. Понятие массы—текуче; и в физике масса—пространственно-временна, а не—пространственна.

Критика строит пространственно массу: вот эта вот, в данный момент; психологии данных моментов подвижны; припомним, что в 34-м году, когда Пушкин творил свои перлы, момент, „данный“ времени,—на Бенедиктова чалил; про Пушкина же говорили, что он—исписался. Но критик об этом молчит.

Само время меняет объем и структуру понятия „масса“.

И стабилизация мыслей о массе в пространстве есть контр-революция, загримированная кисло-сладкою „демо-

1) Из напечатанного в газетах письма Горького.

кратической" миной; не понятен среди масс камчадалских Шекспир; зато он понятен среди масс европейских; какие объемнее? Думаю, что—европейские массы; Шекспир стал не сразу понятен; столетие он в „дикарях“ состоял.

Обывательское представление о массе—пассивное, мертвое, не трудовое; сознательной массы нет вовсе; но организация этой же массы, или масса в рабочих ячейках в триаде вполне равноправной (читатель, писатель, посредник)—источник огромной энергии.

И отношение читающих к пишущим, явно сводимо к вопросу: как строить такое сотрудничество?

Человек есть творец (и читатель, читая, творит: он—сотрудник писателя); творчество—не совместимо со скукой; „почитающий“ от скуки читает, отказываясь от сотрудничества; а „пописывающий“ потрафляет читательской лени; но спросы на „легкое“ чтение—должны быть отвергнуты всею семьей трудовой; „популярность“ не фактор общения: отрывка мещанской утопии о демократии; с ней не построить „Загэса“; тут нужны градации техникумов; но и литература—всегда материал для учебы; и монументальные вещи—„Загэсы“, не суть пирожки; проглотить их в трамвае нельзя—поперхнешься; умения ж утилизировать токи высокого напряжения, текущего в организованном слове писателя-мастера—нет еще; об электричестве пишут брошюры; о том, как читать,—ничего не написано; даже проблема отсутствует: „Как, разве я не умею читать?“ раскричится читатель.—„Ну да—не умеете: я вот годами учусь это делать; едва подвигаясь в науке читать“. Так ответит писатель серьезный, коли не „халтурщик“ он.—„Странно—не слыхивал“,—скажет читатель.—„От вас это скрыли нарочно!“—„Кто скрыл?“

Социал-соглашатель.

Он—скрыл, что писатель есть спец ремесла, у которого нужно годами учиться, пока не основаны техникумы изучения ремесл производственных слова; без знания так же нельзя прикоснуться к словесным конструкциям, как к электрическим тонким приборам: убьет, оглушит, опрокинет своим: „Как понять?“

Инженеры нужны „СССР“ в специальнейших знаниях, а не брошюровки об „инженерии“; так же нужны те ремесленники производства, которых станки не изучены; это—художники слова; протянутость к „массе“ чрез сеть тонких проволок, мощно электрифицирующих орган речи,—сложнее, значительнее, чем мы все думаем; так же не знаем мы слова, как сложность структуры „Загэсов“. А знать бы должны: мы вступаем в период действительной социализации.

Социализация знаний о слове—назрела: читатель протянут к ней—снизу; писатель дает ее—сверху; в середине стал критик-крикун, испугавшийся социализации. Что остается ему? В месте смычки читательской организации с организацией знаний словесных ремесл,—сделав вид, что проблема отсутствует, оклеветать „спецов“ слова, создать суррогаты: „спецоидов“.

Что он и делает: не без успеха¹⁾.

Им скрыт и тот факт, что задание в технике организации слова идет по сложнейшей кривой, что тенденция произведенья написанного далеко не всегда соответствует замыслу: Гоголь, хотевший „Владимира З-ей

¹⁾ Все мною написанное здесь, писалось до прочтения 5-го тома „Собрания сочинений“ В. Маяковского. В этом томе его статьи „Как делать стихи“ я считаю достойными быть введенными во все учебные заведения; в них поднимается уголок завесы над понятием „ремесленный станок литератора“: правдивые статьи!

степени“ в замысле дал „Ревизора“; и тенденциозность зарезала том второй „Душ“; я когда-то садился писать продолжение „Голубя“, а написал—„Петербург“ и т. д.; много кричат о „заказе“, рисуя картину „заказа“—навыворот; „спец“ это знает, но вынужден часто к молчанию; незнающие станков творчества—перекричали писателя; он не умеет сказать: меж „з á-данием“ и „б т-даванием“—пропасть: о ней говорили художники слова не раз; говорили они от станков,—не от политиканства критического; и они—не услышаны; даже понятие „станок производственный“—фикцией кажется.

А между тем: станок—есть; я о нем читал курсы, показывая на сработанном слове зубцы от орудий, его шлифовавших; показывал факты,—не идеологию; фактов нельзя отрицать; нужны только условия обнаружения фактов, иль лаборатория для упражнений: сознательных слушателей—с мастерами, годами работавшими у станков.

Весь вопрос, поднимаемый мной, разрешим не на диспуте,—в лабораториях; нужны ль они? Полагаю, что—да: если нужен „Загэс“, нужен и „Чит-пис-крит“, или—совдеп: литераторов, критиков, организаций читателей; модные споры о слове, заказе, тенденции—не разрешаемы диспутом, или—журнальной статьёю: действительностью скрупулезного опыта, нам повышающего и весь уровень масс: насаждением организаций.

Есть уже „Авиахим“, „Добролет“; почему же отказывать рвущимся к литературе трудящимся в организации нужной для них,—„Чит-пис-крит“? Писателю организация эта—„Критчит-пис“: писатель—кричит о ней; ну а для критика с острова Крита, который всегда самодержец Минос (и до сей поры) мой „Чит-пис-крит“

превратится в „Писчит Крит“; да, „Криту“ с его минотаврами самодержавия, спрятанного под слащавую демократической маской—наступит конец: запищит громко „Крит“, потому что он социализации этой не вынесет.

Тем он и держится, что социализм не введен до конца в обиход нашей жизни; отсюда и травля „ремесл“, и— незнание их, и— кокетство с читательской „массою“, или с культурою неликвидированного мещанства, которая— в каждом из нас.

Цихис-Дзири. 15 июня.

День—лазурный; какой-то атласной отрадою воздух врывается в грудь; ни единого облачка; вся атмосфера— сквозной, отливающий солнечно камень; а все впечатленья—подарок.

Прекрасно купаться меж волн, в разворотинах черного камня; внутри разворотины—тьень; там, как грот, принимающий вглубь распузыренный бисер волны ихлеставшейся; белая чайка дугою прорезала, чуть не задев; выбегаю под камень: с удесятеренною силой, пролившейся в кровь; от избытка энергии лезешь на камневороты; и свесясь, под ревы расхлопа волны,—обсыхаешь.

И—кверху.

Работать—нельзя: разве только,—работать над переплавлением солнца в коричневый цвет иодом пахнущей кожи; я эту работу—люблю; Цихис-Дзири коварно неделями прятало эту работу от нас; хоть недельку такую,— и все бы сказали про нас, что обмазались иодом; карабкаюсь в трусиках (но—не без страха), накинув на плечи тряпченку; меж тем: на холме есть старушка, которая, если увидит меня,—то наверное в обморок рухнет; шархаемся друг от друга, когда я—такой, в моих трусиках;

вид их приводит в панический ужас Ю. Ф.; я же сам— в двойном ужасе: 1) за неприличный мой вид, 2) за ее состояние; она, видя ужас мой, перед ее состоянием сознания,—потрясена вящим ужасом; так между нами градация всех сотрясений—растет; и боюсь, что градация кончится тем, что Ю. Ф., увидав, как я падаю в обморок, чтобы меня отрешить от стыда, станет жертвой, восстав из-за пальмы... в коротеньких трусиках; я ж, потрясенный сим самопожертвованием, облекусь в традиции лучшего тона,—и стану пред нею, закутанным от головы до пяты, спрятав кисти конечностей в лайку перчаток, накинувши шаль на лицо.

Пробираюсь, как вор, в апельсинах.

Развесилось вокруг голубым: голубые соцветия шапками свесились; розовый отдыха дом поднимается из голубого букета; невидимый кто-то играет букетами нежных оттенков: с соседних холмов, перед дачею нашею,—то ж.

Голубая гортензия много недель набухала: и почки открылись в три дня: Цихис-Дзири теперь—голубое (оно было—красным, лиловым и белым); попробовали мы считать, сколько этих соцветий на этом кусте вот; сочли лишь десятую часть всей поверхности: сто незабудковых нежных соцветий; и—стало быть: всех их—не менее тысячи; смежный куст дал в приблизительном счете три тысячи; все Цихис-Дзири исполнилось мощью букетов; гортензии оранжерейные—мертвые; здесь они—живы; и—напоминают оттенками лишь незабудки.

— Гортензия есть незабудка Аджарии—так решил друг.

И действительно: свежестью и полевой простотою пленяет гортензия здесь, поражая избыточностью голубых цветопадов; в Аджарии—все так; и дом,—и веранда,

и башня давно пообвисли листом виноградным; нет стен,— только куча распушенных листьев, размером с тарелку; хотел засушить один лист, чтоб друзьям показать (я боюсь, что приеду в Москву Тартарэном),—да не было книги, куда бы мог лист уложить; с потрясающей силой лезет и пучится зелень, в прогрессии геометрической растут свои развивая под небо; соцветие старой агавы уже—семь аршин; это—шест, указательным пальцем протянутый к небу; деревья, взрываясь цветом, впестрились в перепестренный ландшафт; на горах—забеленье: процвел олеандр; а то дерево (лист его будет с тарелку) обвесилось крапами розовобелых цветов—орхидейных, воздушных; когда мы уедем—иные каскады забьют из деревьев, из волн: будет море выкидывать новые камушки, точно цветы,—переменчивым роем оттенков; да—с пуд их придется тащить; фунтов десять отосланы почтой; на почте—не верили, камни рассыпали (скрыта меж них контрабанда); когда увидели, что нет контрабанды, то расохотались; но второй порции мы не решились послать: навлечешь подозрение.

Каменный пуд волочить за собою придется.

.....
Как пьяные ночью, сегодня мы бродим; серебристое, белесоватое море; вот—сноп от луны; а вот—отблеск Юпитера; елочным шариком явственно виден он: синесеребряное, искрометное тело; другое, рубинное,—пересекает простор: пароход от Батума на Потти пошел: он три раза в неделю отходит—в двенадцать часов по ночам.

Небо—явственное, голубое, как днем; с фосфорической, синеватой луною в серебряной неге расперых барашков; свеваются, точно по воздуху, просеребрённые ясно, едва уловимые ткани на гущи деревьев, серебряных тоже; окрестность—стоглавая, сереброглавая, в свет-

лом роенье деревьев, в которых исчез близлежащий рельеф; только дым очертаний встает в голубые глубины; и там,—оживление звезд живоплещущих; все—канитель листоплясок, среди зефирей дыханья, взволнованным шопотом чуть проходящего; а под вершинами, выше травы, сквозь кусты,—ясни красные, как из просыпанной трубки, закручивают рой спиралей: жучиный, живой искролет; в это все косяками врывается тьма, где нет контуров, нет—ничего: тень ущелий.

Над всем улыбнулась серебряносерая стая рогов; нынче вечером—голубосизая стая: вершины аджарские сдвинуты ближе, чем следует (это—иллюзия ночи).

Нет сил разойтись: и забравшись на башенку, дверь распахнув на балкончик, любуемся новой картиною, поданной в грозном потоке листов,—виноградных и пальмовых; первые—сверглися: с крыши, со стен, от карниза; вторые—космато разбившись, переплеснувшись к нам за перила,—теснят; на балкончике—непроходимая гуща; в листьях—все раздвинуто; не побережье, а ряд побережий, где ярко блеснувший потийский маяк, очень близок; туда—пароход убегает; он—красная точка; лишь белое кружево кажет границу морскую; а то в голубом серебре не увидеть ни моря, ни берега: воздухи, ставшие там световой кобулетской крупой: огонечками, сотнями их. Влево—дом, розовый днем, лиловато сереет; он—призрачен; вокруг него—мрачночерные свечи: то—строй кипарисов; и—белесоватое, точно фата, просветленье гортензий подлунных.

Вдруг—гнусный, хохочущий голос, язвительно спорящий с этою белозавурною ночью; Авдей, пес, за ним псы соседних холмов, поднимаются в лай; обрываются: хохот шакала, лай псов; пролетают взволнованно шопоты; и листолапы пальмы—подплескивают:

— Не забыть Цихис-Дзири!

— Сегодня оно — голубое и нежное.

Нежность — томит.

Ослепительный вспых: точно шар молниеносный уставился в нас из серебрянной дали морской, где нам виделись слабо зефирные зыби; и мы, и балкончик, и стены: и тени—чернеют на них.

Все — погасло.

— Прожектор.

— Нас видели: нас рассмотрели в бинокли.

И светом резнуло от моря до гор; луч—протянутый стас; второй час.

Пора спать!

Цихис-Дзири. 25 июня.

Уезжаем!

Прошло десять дней, суматошных и сутолочных; это время под ливнем работы я жил; и—брошен „Дневник“ и—брошены: камушки, пляж, пейзажи, погода.

Сегодня прощались с кедрами; после спустился к морю; оно—тяжко охало; красное солнце садилось в белесоватые тучки, которые стали лиловыми. И—

Закатилось оно—

Золотое старинное счастье:

Руно золотое.

Пришел доктор, Лев Михайлыч, с неделю приехавший; долго сидел: развивал свои мысли: о голоде, об аккадийской культуре и происхождении Китая; он—невропатолог, работающий над исследованием голодов; от Саргона.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ПОД СЕНЬЮ ГРУЗИИ.

Тифлис. 27 июня.

Утром за окнами поезда видели вновь панораму у Гори; другой показалась она; горы—отяжеленные, будто присевшие в землю: при свете дневном и трезвящем—грубей и упрощенней виделись; сняты вуали сквозных колоритов; красивы, дородны, но как-то от них неуютно.

— Ну—что ж,—хорошо и... торжественно.

— Горы, как... горы.

Быть может,—не выпались: спать... Стали спать. И вскочили, как встрепанные, когда кто-то в спехах разбудил, когда желтый от пыли Тифлис показался; мы ж думали: Мцхет. Потому и сидели, покуривали, удивлялись, зачем такой спех.

— Да—Тифлис!

— Поскорее...

— Куда девать это?

Цветов цихис-дзирских—букет на букете (любезность Ростовцевых).

— Бросьте: не справимся.

В час позвонились к Мутафовой, встретившей так же изысканно мило: как старых знакомых; вот милая очень Елена Филипповна.

День пробежал незаметно: в раскладке и в перераскладке: мы часть багажа отправили в Москву.

Уже к вечеру, сидя на ясной веранде, глядели с улыбкою мы на мимозу японскую, пухом цветущую златосеребряным, веющим ласково: в зори; З. К., сидя рядом, рассказывала очень много о Петри, который живал у нее; выросстал человек: наш любимый пьянист. Человечностью доброй волнует, когда мы внимаем огромным глаголам аккордов, вещающих правды свои; и хорошее — влито в прекрасное; грек бы сказал, что — „калос к'агатос“. Мощно действует Петри: за это все любим его.

Вспоминаю с ним первую встречу.

Зал — полон; все — ждут; на эстраду выходит обычного вида служитель, который готовит рояль для пьянистов: раскроет его; но... но... но: инструмент — приготовлен; что ж это? „Служитель“ — во фраке: одет, как артист; он садится пред клавиатурою в плеске всего пробужденного зала, оправивши черные фалды рассеянно. Петри?

Он — сел: его — нет; и рояля нет — тоже; но есть человек, рояль, или — полная слитость: души с инструментом; играет орган, — не рояль, — наполняя об'емистый зал титанической мощью; все это — проделали пальцы, летающие над роялем, как рой мотыльков: в сотрясениях звука ж изваян... кавказский хребет: не орган, а — отряды органов; позднее же соображаю; нет силы удара: моральная сила нас встрясывает. Инструмент красотой переливов глаголет торжественно: „Сила добра — побеждает“.

Таким начинается Петри во мне: он при первом касании к им извлекаемым звукам пропал; старый Бах выросстал убедительно; я оттого не услышал рояля, что первое произведение Петри, вошедшее в душу — был Бах, иль вернее, что — бахово время, когда и рояль рецитиро-

вал звуки органа; семнадцатый век проходил перед нами, а не—„интерпретации“; до—не знал Баха; теперь—знаю Баха: мне Петри его вдвинул в душу; я понял, что многоорганная полифонема—не действие пальцев, а разума, ставшего сердцем, прошедшего пальцы; я видел, что он не руками играет, а полною грудью своей; его лоб есть какая-то клавиатура: он клавишем думает; где тут усилия рук? Нет нажима; и громокипящие звуки рождаются от мимолетных касаний всплеснувших пальцев.

Не пальцы, а—рой мотыльков; человек, обладающий ими, пренпросто сидит перед ними, как палка какая-то, как табурет, на который сел... Бах: мастерство и упорство тяжелое хлещет живою водой содержания, выбитого, как жезлом, из скалы; он холодный; не холод, а—диапазон, расширяющий клавиатуру жары и мороза; он—жарче других; оттого он звучит холодней для теряющей быстро чувствительность кожи ушных восприятий мещаника, требующего „экспрессии“, „чувств“ вплоть до вскидов чела, до гримасы лица и до рек разлитой испарины. Петри теряет семь потов рабочих до выхода в зал; оттого-то испарины нет; испарился давно; он единственный „Интерпретатор“, свой долг осознавший пред автором, личность утративший; да, он живет в коллективе посредником им проводимого звука: ходил в нас и действовал—Бах.

Так что „мы“ пролетарской культуры, предмет обсуждений рассудочных,—„мы“, а не „я“—воплотилось пока... играл... Петри.

Когда же исполнил он Шумана, мне стало ясно совсем, что фантазию, слышанную уж раз десять, услышал впервые: при Петри.

Не „Петри“, а—„Шуман“; где Петри? „Служитель“ сидел при рояле; и что-то с ним делал; рояль,

раскрыв рот, пропел Шумана; громокипящие плески; „служитель“—привстал; и от имени Шумана перед роялем раскланялся.

Понял я степень великого самопожертвования; очень мало сказать: „гениальный“ пьянист; еще—больше: он—„добрый“.

За это и любим его: и, услышавши, ждем, чтобы снова услышать.

Окончив „Фантазию“,—странно он стал отделяться от клавиатуры, и просто (со странной своей простотою), покачиваясь, точно гусь, побежал за кулисы, на несколько согнутых, слабых коленях: смешной и большой.

Мне отметилось: здесь—воплощенное чудо умения передавать через кончики пальцев, толкающих клавиш, огромное сердце свое; здесь ударами клавишей бьется оно; оттого-то и клавиш становится мощным сердечным толчком, сотрясающим, а—не акустикой.

Уже в передней, давась над калошею, забормотал:

И невозможное возможно,

Дорога долгая легка...

С ощущением легкости дальней и трудной дороги (жизнь—очень трудна) я пошел по Никитской под хлопанье гнусной мокрели; но в сердце фиалки цвели.

Странно: первый тифлисский наш день стал сердечными воспоминаниями мне о Петри; разглядывал я уютные комнаты З. К. Мутафовой: здесь проживал и трудился над звуком „наш“ Петри; и делалось славно.

Он—„наш“.

.....

К чаю, вечером, к нам позвонились знакомые З. К. Мутафовой, критики, мои читатели, выразившие желание встретиться: П. и А., очень культурные, милые люди.

И вечер прошел незаметно.

Тифлис. 28 июня.

С утра появились с корректнейшей осторожностью милый Паоло Яшвили с Табидзе; хотели они нас водить по музеям; я тронулся гостеприимством таким; обсудивши программу всех дней, порешили, что—завтра; немножечко поговорили; и выяснилось, но об этом—потом.

Пообедавши, сделали легкий пробег по местам, уж исхоженным, чтобы воскресить впечатленья Тифлиса.

— Он—тот же.

— Весь—серый.

— Прекрасен.

Спешили с покупками (с „завтра“—расписаны дни); и, конечно: турне завершили в кафе: с превкуснейшими булочками, с превосходным дымящимся кофе.

Вполне неприятная штука: я стал просто „жупелом“; и от меня ждут „рицаний“, не—лекции: тем ж мои—препростые, земные; да: чорт знает что; аппараты „Кривых Зеркал“—действуют!

Злюсь.

Темный вечер,—пора: П. Яшвили сказал, что—заедет; ждем—нет; между тем: тучи, гром; стало густо прикрапывать; так, не дождавшись Яшвили,—выходим; у консерватории (место для лекции), видим, что кто-то из наших поэтов, вскарабкавшись на фаэтон, лупит мимо—за нами: его окликаем.

Совсем растерялся: до лекции сразу пришлось познать комитья мне с двадцатью (это—минимум) разных оттенков писателей всяких: грузинских, армянских, крестьянских; а вот пролетарские; там—символисты, а там—формалисты; их жены; и—критики; я, перетрусивши, переконфузившись, вместо того, чтоб собраться, все мысли свои порастряс: с перетрясом в мозгу так и выскочил к

аудитории; с кафедры, фразой бросаясь, стал думать, — впервые:

— О чем бишь?

Но — справился: с лебедем, с раком, со щукою: лебедем думали видеть меня, коим я представлялся сосулькой мистической („Ось,—сосульки“!—вы помните?), „раком“, давно прущим вспять, представлялся другим; „щуккой“ скользкою и превертлявою, ищущей, выюркнув из-под контроля, зарыться в мутнейшей воде „соглашательства“, — таким представлялся я тоже; но справился с „лебедем“, не оказавшись „мистиком“; справился с „раком“: со мной соглашались иные марксисты в проблеме „заказа“, „надстроек“ и метода диалектического; щукою я не бывал никогда; так что „щука“ — отпала. В этом скромном развеянье „тройки“ мифической и с водворением подлинной закономерной триады я справился.

Только.

А впрочем — был слаб.

В перерыве знакомства мои утвердились; иные из деятелей поэтической Грузии мне говорили: „Мы знаем вас еще студентами университета московского: по вашим лекциям“. Чувствовался, — возникающий, дружественный переклик; захотели сидеть после лекции: звали в кафэ.

Отложили: вставать завтра — рано.

Тифлис. 29 июня.

Провел этот день с утра до-ночи с близкими братьями по устремлению культуры искусств; с Тицианом Табидзе и с бронзово-твердым и все же сердечным Паоло Яшвили; он — бронзовый, вылитый из размышления, ставшего сердцем; Табидзе — сердечный вулкан, бьющий пламенем в мысль, отчего расширяется сердце, — и вещице,

мудрые мысли выкрикивает, ретушируемые Яшвили, которого острый рассудок утонченно преобразует вулканы Табидзе в породы изваянных скал, в барельефы культуры: пыл первого голову рвет, расширяется—приобретает космический смысл, отчего стало б холодно, если б Паоло Яшвили потоки, взметенные к небу, сознанием не осадил в атмосферу земную, в которой вулкан вещей слов из беседы застольной и тостов Табидзе, становится очеловеченным и оконкреченным.

День проведя с тем и с этим, мы поняли, что—двуединство они; оба—лидеры кружка поэтов; Паоло Яшвили есть „лидер“, дающий чеканную форму стремленьям; он—связывает их конкретно с советской действительностью; без него, может быть, тот кружок захлебнулся б в волне романтизма; и здесь вспоминаю невольню я Брюсова; тем, чем был Брюсов для нас, молодежи, в начале столетия, в первые годы его,—тем Яшвили мне видится для поэтической Грузии,—с тем, разумеется, ярким различьем, что годы—не те, что эпоха, в которой живем, развернула градацию школ: символизм-футуризм, „плюс“ гражданственность, „плюс“—мировая война, революция; то, чем когда-то возник „символизм“,—было ярко подхвачено, применено и развернуто в ширях и в глубях своих; в это все излились темы нашего дня; это все сочеталось с древней грузинской поэзией (от Руставелли), явив широчайшую, вовсе не школьную и не партийную, форму, отчетливо переплетенную с лозунгами современной действительности.

В этой перечеканке,—я вижу Яшвили: Язон аргонавтов двадцатого века, поэтов Колхиды, встает.

Стоит остановиться на образе этом, и чувствую, как я—неправ: вся проблема культуры Яшвили, мудрейшая и революционно-ответственная, дышит жизнью от

взрывов сердечности, влитой в него рядом с ним возникающим, мудро кипящим Табидзе.

Два лидера!

Трогательно: целый день уверяли они, что действительный лидер кружка—не они: Робакидзе; как жаль,— что в Берлине он; если бы с ним познакомился, стало бы ясно, что сила-то—в нем. Что ж,—не спору: пусть так. Но какая прекрасная черточка: помнить отсутствующего и так постоянно вводить в обиход; к сожалению,— я с Робакидзе не встретился; но—мы знакомы; меня познакомили с ним два его верных друга; стоял между нами он; кстати,—отмечу, чем я восхищен в моих новых друзьях: ни ш т р и х а самомнения, самости, или желания первенствовать; постоянно Яшвили подчеркивает: „Я-то— что: Тициан,—вот в чем сила“. Табидзе ж кивает: „Не я, а—Паоло“. И оба твердят: „Робакидзе,—как жаль, что раз'ехались с ним“.

„Тициан“ и „Паоло“—позвольте назвать вас так именно: знаю чрез вас его.

Вот—коллектив; крепко „мы“; и мне стало понятно, что эти поэты сплетают свои устремленья вполне непредвзято с крестьянской поэзией Грузии; и—с пролетарской; с крестьянским поэтом знаком: с Леонидзе; он тоже в семье этой; эта семья—„все грузинская“.

Грузия ею гордится.

Я тоже горжусь: оказавшись в Тифлисе, братался с семьей трудовой, с семьей творческой; мог поэт русский пожать братски руку, как русский—грузинам; да, есть Федерация братских народов; сквозь разность оттенков, наложенных прошлым на нас (направленческих, классовых), освещены мы не прошлым, а—будущим, формы кующим; и в нем, в этом будущем,—творческом и трудовом,—мы большая семья.

Вог—Табидзе: с глазами огромными, широкоотельй, сутулый, немного нелепый, как будто, протянутый в край горизонта,—все рвется вперед и не видит меня и товарища, нам подставляя плечо и оплескивая развеваемой в ветре своей широчайшей рубашкою; это — иллюзия: видит — такое в тебе, что руками разводишь: „ведь вот: ты годами с писателями говоришь и работаешь; им — невдомек, что живет в тебе; этот грузин, проведя с тобой день — разглядел, угадал“.

С удивленьем разглядываешь ты сутулую спину Табидзе, влекомую полным лицом, убегающим за убегающей думой; бежит к горизонту — не видит, не чувствует; и на тебя — нуль вниманья (все — видит, все — чувствует).

Это внимание выявленное — есть Паоло Яшвили.

Его очень добрые, строгие очи, всегда чуть-чуть грустные, — видят: сворот, кто устал, сколько времени, можно ли здесь задержаться, куда надо двигаться; и отмечает Яшвили — все это: все — ставит на место; ему горизонт как бы чужд (а Табидзе — всегда к горизонту не сется), но чужд потому, что — идет с горизонта; и знает его; может быть, еще лучше, чем пылкий Табидзе: сама рассудительность, четкость, корректность, он в целом — какой-то сквозной транспарант широчайших прогнозов, орлиных, свершаемых — там, в одиночестве: истый грузин — с головы и до ног европеец он; оригинально Европа подковывает металлический звон его строчек, в которых прекрасны — согласные; эти согласные напоминают породы грузинских холмов, по его выраженью — „ч у г у н н ы х“.

Он видится — бронзовоогненным.

А у Табидзе в стихах поражают воздушно-звучащие, широко-вольные гласные волны; кричит он — на гласных;

не земли, а воздуха рвутся, когда декламирует он—сибилическим голосом: сущий „восток“, но — прекрасный „восток“, у которого надо учиться.

Воздушный Табидзе: громами гремит, изливается ливнями.

Вот: ничего не умею прибавить; и стыдно, что так записал; если жалкие эти потуги на характеристику личностей, еще вчера незнакомых, дойдут до них, то умоляю грузинских друзей—не сердиться; они же от „добророго“ сердца; вполне без претензии писаны.

Тифлис. 30 июня.

Быстро записываю впечатленья вчерашние.

Ровно в 12 часов появились Яшвили с Табидзе—за нами; фырч быстрой машины за окнами, громкий звонок: вот они; „такси“, нам предоставленный—гостеприимство „Союза грузинских писателей“, сделавшего все, что возможно, для наших удобств.

„Фырк“—поехали: перестрельнули стремительно, нарисовавши зигзаг рикошетов.

— Стой!

— Что это?

— Это—Музей нашей фауны.

Маленький, но остроумно составленный: сценки, макеты природы: и в каждом—стоит представитель животного мира; видна обстановка, ему подобающая; вот—кавказский медведь, небольшой; вот—в лесах залегающий барс; а вот тигр, преогромный, убитый недавно у Мцхета; о нем уже слышали: с юго-востока забрел; в ленкоранском уезде, соседящем с Персией, тигр еще водится.

Рядом зверей богатеет Кавказ; в гущинах обитает кабан, зоркоглазая рысь и козуля; красавец рогатый, кав-

кавказский олень, вознесен над стремнинами; зубр еще водится—правда в одной всего местности (где-то в Абхазии: он—очень редок), козел бородатый и туры (тур Северцева, дагестанский), кавказская серна; в равнинах—сайгак и джейран (антилопы), гиены, шакал и барсук; а лесные коты оглашают мяуканьем чащи; везде процветает охота: различные формы ее.

Что за диво?

Узоры пестрот раскрылились роскошно вдоль стен в многокрылие: это—кавказские бабочки, собранные с горных пастбищ, с цветущих альпийских лугов; пред стеною часы бы стоять:

— Нет, Борис Николаевич, мы не поспеем: программа большая,—глядя на часы, отрезвляет Яшвили.

— Пора?

— Очень.

— Жаль.

„Фырк“—поехали; перестрельнули стремительно, нарисовавши зигзаг рикошетов:

— Стой! Это—музей.

Благородна по краскам старинная живопись Персии; новая живопись Персии (вплоть до начала истекшего века)—не так благородна, а все же—пленяет; мне ясно, чего нагляделся пронзительный взгляд вивисектора Гудияшвили, который слепил лик грузина; он здесь очень ярк; большой простотою пленяет зал старых грузинских художников; видишь размахи культуры народной в строжайших, возвышенных фугах орнамента: черное, белое, серо-серебряное; эта тихо грустящая скромность—добротная старь, потому что—народная старь.

Зато живопись новая—не интересна нисколько; новейшая (Гудияшвили и кто-то еще, к сожаленью забыл я художника имя)—есть первый сорт: оригинальное

пересечение стилей: старинно-грузинского с нео-французским; вполне недурные полотна Сарьяна, но... но...

— Нам, Борис Николаич,—пора.

— Миниатюры персидские,—как же?

Заведующий предложил нам их все показать; говорят — они чудо.

— Но мы не успеем.

Так—после.

Поехали: перестрельнули стремительно, нарисовавши зигзаг рикошетов.

— Университет!

— Здесь музей национальный наш: этнографический.

Белое, монументальное здание: толпы вбегающих, всюду стоящих—студенток, студентов; поток—молодой, яркой жизни; везде—коридоры и двери; там—аудитории; мимо: пустеет; ряд тихих безлюднейших комнат; профессор, заведующий, седобрадный, почтеннейший, с интеллигентным лицом, с очень зорким и нас дозирующим глазом ведет к веренице моделей, к настенным орнаментам чуть не шестого столетия, сопровождая турнэ интересной, живую беседу:

— Надпись шестого столетия.

— Список Евангелия.

Что за чудо: лист каждый—„пись“ тонкая: сплет миниатюр:

— То—тринадцатый век.

— Еще список?

— Четырнадцатый.

— А вот „Барсова Шкура“—древнейшая рукопись.

Ряды портретов: цари, Руставелли.

— Кто эта красивая дама?

— Жена Грибоедова.

Ряд близких деятелей: культуртрегеров Грузии.

Да—материалы для месяцев: видно, в Тифлисе скучать не приходится: стоит зайти—увлечен, переполнен, захвачен: особенно великолепны модели старинных грузинских соборов; меня потрясают пропорции: их музыкальность.

— Борис Николаич,—пора.

Всюду этот Паоло Яшвили: учиться бы, а он... Но с мягкой, грустной улыбкой Яшвили доказывает: это—после, хоть завтра; сегодня—иная программа.

И—мы отрываемся: милый профессор стоит перед книгою и деликатнейше просит, чтоб сделал я надпись; сердечнейше благодарю за науку:

— Не стоит: вы—друг национальных грузинских поэтов, и—стало быть: друг наш; они...—тут с любовью бросает он взгляд на Табидзе с Яшвили они—наша гордость.

Мы—вышли.

— Куда?

— Теперь—Мцхет.

Мимо мною описанных скал ¹⁾ мы стремительно ринулись; перемелькало исхоженное и увиденное, и „Эгэс“, и навешенный „Мцыри“, и памятник Ленина; мимо плотины,—через мост; громко врезались в серые улочки Мцхета; уже у собора; он—отперт: огромен, но мрачен и пуст; все пропорции—верх совершенства; остатки облупленных фресок висят; мы их только что видели в „Этнографическом“.

Снова в машине: несемся за Мцхет—по Военно-Грузинской дороге; врезается воздух; дорога взвивается

¹⁾ См. главу вторую.

вверх, а под ней—зеленейшая ширь, перерезанная голубою Арагвою.

— Скоро—все вместе: туда!

Нас с собой забирают писатели: это—экскурсия к Владикавказу; нам—случай счастливый; маршрут наш и так ведь—туда, чтоб по Волге—домой.

Повернули.

Уже мы прилетаем к духану, где в мае посиживали с Мейерхольдами; „Захар Захарыч“ является; и—посылает наверх; на балкончике сдвинули столики; есть подают: заливаемся пеной сердечных речей; говорят—то Табидзе с Яшвили, то—я, перекидывая наши мысли застольные, как подаваемый мячик; летают они, легколетны и тихи: Табидзе же—наш председатель,—всему дает тон; слово за слово—главка за главкою: повесть проходит—история литературы грузинской, живые портреты уже современных поэтов, с которыми я познакомился только что; нет,—не беседа, а—лекция.

Дружно сдвигаем бокалы: под звон их встаем:

— Ну—пора.

И—летим на Тифлис, просекая его, забирая попутно еще двух поэтов, Колау Надирадзе и Гафриндашвили, с которыми я познакомился; нарисовав рикошет, останавливаемся перед чистым, изящнейшим особнячком:

— Резиденция наша: „Дворец Искусств“.

Входим—нарядные комнаты; вместе с тем,—очень уютные комнаты; есть, где отжаться беседе, и есть, где отжаться молчанию, хотя бы с террасы—вот этой, сбегавшей в маленький, буйно тропический, замкнутый садик, который мне кажется просто садиком: так густо зарос он; и думал бы—в необитаемых джунглях затерян, кабы не дорожки, покрытые ярким песочком.

— Пора—мы в Каджоры.

— Увидите дочку мою,— она там—говорит мне Табидзе.

Взвиваемся вверх—через Тифлис—над Тифлисом же.

Вдруг упорхнули под ноги дома и домишки—с пылями, чинарами, двориками и плетенницей улиц; вот бронзовоясные с темною морщью сграненья толщ каменных: острый рельеф преогромных горбов; за плечами ж—Давида гора; вид от этого места—смешение и катастрофа: срыв с неба упавших массивных обрезаов металла (не камня), который гравер-исполин исщербил утонченнейше волнообразно слетающими параллелями,—срыв тебе в ноги вышин; и—паденье всего, что под ними,—по скату; паническое улепетывание пятна, иль Тифлиса, под ноги—с отхожею местностью, с дальней Курою, с равниной заречною, вниз,—преисполнило вдруг вознесеньем: полет напряженный; „фырчим“, поднимая сухую пылю по дороге, стремглав улетающей; свесившись над нарастаньем зеленого ската, следил за Тифлисом, пустившимся в бегство; откинулся к бронзе горбов—где она: где горбы? Они стали подножием зелени, переменяв все рельефы—в вид странный; и даже вершина Давида, взметенная только что выпррь, унижается, сваливаясь, как и все, что за нами.

Слетела; мы выскочили на нее, отлетели, зигзаг пролетели, влетели обратно; и—врезались в бурно-спокойный надклон зеленеющей местности: всей.

Там, где снизу торчали вершины да острые гребни, отсюда, от них—открывается, что их и—нет; есть подлет без конца в улетании к небу простершихся местностей, ровных и тихих, но одушевленных игрой колоритов в тот звук высоты, о котором сказать не умею, который дает таки знать, как бы местность ни низилась с виду; ту ровность высот в иных случаях переживаю взволнованней, чем позы срывов и позы крутизн.

Крутизн—нет, а—об'емы, разлеты, распад перспектив, откровенье пространства, в пространстве спрессованного; расширение мира,—до вскрика; и, да,—до задоха.

— Ну что,—хорошо?

Поворачивается, ухватившись за шляпу,—Яшвили.

Мы только махаем руками, несясь мимо кучи домочков, слетающих к нам по откоосу пологому:

— Здесь проживал Городецкий.

Проносимся—выспрь.

И несемся теперь по массиву, подкаченному под углом в тридцать градусов; если назад повернуться—то низко под нами, где край зеленеет в—„куда-то“ (куда—неизвестно: там все подается в воздушном растворе),—под нами—вершина Давида, иль то, что вершиной тифлисы зовут.

Ветер хлещет в лицо вместе с плеском рубашки Табидзе, просунутого головою тяжелой на встречу ветрам; мы, схватясь за шляпы, кричим:

— Хорошо!

И—возносимся выше.

— А слева—смотрите-ка!

Слева—не то что провал, а огромное море воздушное: скат без конца, где, как в царстве подводном, наметились желтые зубрины маленьких холмиков на расстоянии верст десяти (или—я ошибаюсь); и знаю, что зубринки эти подводного царства—громада, стеною стоящая меж Ботаническим Садам и нашим кварталом Тифлиса, которого нет, потому что мутнистая серь преисподней стоит, занавесясь не тучею—воздухом: разве—Тифлис?

Понимаю, зачем Воронцов приказал истребить все леса, чтобы подступ к Тифлису с Коджоры был виден за многие версты; наверное здесь простояли столетье пикеты казацкие; можно отсюда, взорвавши холмы, покатить по укло-

нам—град каменный: „камушек“, с дом, понесется, под-
скакивая, точно мячик, чрез рывины; и развивая прыжки,
приподпрыгнет над старым Тифлисом; тифлисцы подни-
мут глаза и увидят: из неба свергается каменный град:
град из скал.

Вероятно,—фантазия: только отсюда, из этих зеленых
разлетов, где качка равнин, улетающих вверх, есть кар-
тина ковров самолетов, сорвавшихся в воздух,—отсюда
охватывает просто страх за Тифлис, поместившийся
в глуби пролома гигантского—не сознающий, что он так
принижен высотами этими; гора Давида с вершиной—
обман, потому что отсюда вершина ее—предподножие,
а не подножие даже,—огромного восхода.

С Тифлиса же думаешь, что оказавшись в вершине
Давида,—стоишь над всей местностью; и—не боишься
высот.

Продолжаем носиться, рисуя восьмерки по взлетам
равнин, зарываясь—выше и выше, и выше, и выше.

Давно—нет Тифлиса; и—даже, смалившись, шири рав-
нин затифлисских под ноги ушли; вместо них, ниже нас,—
униженная линия сети холмов, окаймивших равнину; за
ней же разверстка взлетевших ландшафтов в стенения
воздуха, в странные полосы светов, теней, укрывающих
весь горизонт, занавесивший бездну небесную Тютчева—
лег и на земли: отсюда; когда б разорвался он, весь бы
хребет снеговой там стоял; но покров голубой—угущен:
и на нем—колориты: неверные, зыбкие.

— Сколько же верст до Коджор?

— Да верст двадцать.

— А где они?

— Там.

Впереди—горизонт с очень ясною всклокой деревьев;
и видно: оттуда — пространства слетают таким же

распадом в воздушное море, каким отлетели они, упав за спины нам.

Свежевато: мы кутаемся; щеки ярко пылают, как будто стоит не июнь, а—октябрь.

— Это — дачная местность: сюда уезжают тифлисы к июлю; и к августу, чтобы сентябрь иль октябрь провести на морском побережье.

Знай ранее мы, что такое Коджоры,—мы были бы здесь: сухость, ясность, игра колоритов, просторы, приятная свежесть, потоки озона,—все то, что мы любим; и вместо всего мы—палились, сырели, дрожали, лоя жадно воздух в своей допотопной теплице.

Спросил я о ценах снимаемых комнат; они—баснословно дешевые; пренебрегают Коджоры тифлисы; для них—это Кучино; ну а для нас,—если б знали, что здесь,—появились бы толпы из СССР.

Просто Кавказа не знают: и зря туда едут, наметив сеть пунктиков, официально знакомых: курорты. Батум, Сочи, Гагры, Сухум и т. д. Я понимаю, с'езжаются в „официальные“ пункты—больные: лечиться; а мы, отдыхающие, не больные,—зачем же мы едем в „больные“ места, мимо дач на Военно-Грузинской дороге и мимо Коджор? Потому что не знаем, куда нам приткнуться себя: и—не туда попадаем.

Воистину: в элементарнейшем смысле Кавказ от нас скрыт; лишь проживши три месяца, перед от'ездом в Россию,—вдыхаешь: и здесь бы остаться, и там.

Увы—поздно.

И все же, я должен заранее предупредить, что в Коджорах встречает дефект, очень крупный для многих: воды нет.

Стоим средь поселка зеленого: малые домики; дачники ходят, закутавшись; справа и слева, и сзади, и спереди—

слеты, просторы, балет перспектив: да, тут можно, за-
севши, забыть все на свете, нырнувши в работу.

Я сам, не поживши в Коджорах, — однако, зову в них
художников слова, беременных произведением новым: на-
пишется быстро и остро.

— А там—что за замок?

За пропастью, по направлению Манглиса, замок повис.

— Был он „притчей“ для всех: обитателя замка боя-
лись; засел там разбойник: но тронуть не смели его“.

— Ну, — а власти?

— И власти.

— И что ж?

— Да—всему есть конец: умер он, перестали бояться
его.

Это —тоже Кавказ.

.....
Мы несемся обратно.

Смелкались местности; все перспективы нарушены
сызнова: слеты, отлеты, пригорбья равнин, в тени сев,
загорелись странно; там—синяя, там—красноватая муть
с пятном зелени, в муть выступающей, но—без конца и
начала: как будто пятно из пространства повесили; воз-
духи—выше и ниже.

Исчезли все земли.

Но выступил, заговорил, расцветился атласными ша-
лями—воздух; туч нет, а какие-то образования в нем; мы
слетаем по вовсе невидной земле: как из воздуха—в воз-
дух; и то, что стремглав уносилось под ноги,— обратно
несется из бездны неясной, вокруг нас объяснясь впервые
дорогами, скатами, даже травой; за спиною—стверженный
теньями рельеф; и—прехмурая, темнолиловая ночь наплы-
вает над ним, припускаясь вдогонку за нами.

— Ай!

Это—срывается крик у товарища; он показал мне рукою; из душмутительной бездны, из низа, который стал ниже всех теоретических мыслей о низе,—пятно темно-серое, точно проказа, восходит на нас; и уже приблизилось светящими искрами.

— Это ж—Тифлис?

— Да,—смотрите, откуда мы свесились.

Он пошел быстро навстречу, кидаясь обломками; эти обломки, взлетая на нас в лиловато-рыжевших тенях, становились цепями холмов, обставая; ствержались в один выроставший массив, перечерченный теменью; свесясь над пухнувшим и подходящим Тифлисом, следили, как вспыхнул он весь: электричеством—под-ноги.

Вот косогоры его: вот Давида гора, бронзоватые гребни: меж них провалились.

И—дома.

— Спасибо, спасибо: сегодняшний день не забудем.

Взволнованные, сотрясенные воздухом, ввали в какие то неугомоны; и—выскочили: потолкаться по улицам.

Очень люблю я вечерний Тифлис; белым светом горит Эриванская площадь; сроенье людей на горланящих громко углах; шарки туфель и леты пролетов; глаза расширяют и снова сжимают авто; затихая вдали; очень много цветов и кофеенок, чистых, приличных, веселеньких.

Шкловский!

И он—между прочим.

— Как очутились вы?

— Я же люблю по Тифлису бродить.

Я ж люблю натолкнуться на Шкловского; люди мы—разные, но с ним не скучно и просто: он—остр, непредвзят, умен, добр и терпим, хотя силится выглядеть

непримиримым; потом—человек без „приема“, без „формы“; он—сплошность весьма содержательных тем; и одно содержание—всегда интересно: то—„метод формальный“, им выдуманный, потому что анализ приемов, сведенье к приему в нем—жест, пантомима и символ; когда говорит он „прием“, я—не верю: „прием“—угаданье: его интуиция; „метод формальный“ его нечто в роде известного „психо-анализа“; а преступление его в том, что он, наплодив формалистов, добыл им и кафедры: „профессора“ от Шкловизма—седы, препочтенны, убийственно скучны.

Куда б ни попал—вижу Шкловского; я в Ленинграде; и—Шкловский; в Берлине; и—Шкловский; у Горького—Шкловский; в Москве—тоже Шкловский; конечно, в Тифлисе он должен возникнуть: прием стилистический встреч между нами; судьба занесет в Гималаи меня—с Эвереста сойдет Виктор Шкловский; и, не удивившись нисколько, продлит разговор, продолжавшийся у Пильняка, за два года, начатый в Сарове¹⁾, у Горького (года четыре назад). Встретясь, руку подаст прерассеянно (это—формальность пустая), и пределовито продолжит, ответивши репликою на фразу, два года назад мной начатую.

— Да,—ну и знаете....

— Что знаю?

— Вы говорили у Горького.

Так разговор без начала и без окончания, малыми порциями перескакивающий в годах,—возникает в тифлисском кафе.

Перебив вдруг себя, он бросается:

— Читали? В Крыму-то!

— Что?

— Землетрясение.

¹⁾ Под Берлином

Просим газет, углубляемся; Шкловского вдруг осеняет,—в Крыму ведь семья его. Вспомнивши это (ходил человек целый день, удивляясь землетрясению; и—невдомек, что семья-то в Крыму).

Перепуганный, очень взволнованный быстро срывается с места:

— Прощайте.

— Куда?

— Телеграмму пошлю: беспокоюсь.

И—нет: провалился во тьму.

И фрагмент разговора, который урывками длится шесть лет, как всегда,—оборвался; наверное в двадцать девятом году, Виктор Шкловский, со мной повстречавшись в Владивостоке и руку свою протянув, деловито заметит:

— Все благополучно.

— Да что?

— А, да помните: в двадцать седьмом году я из Тифлиса послал телеграмму: так знаете,—все невредимы остались... Вы мне говорили тогда...

Тут, исчезнув, воскреснет году в тридцать третьем; но где это будет,—не знаю.

Тифлис. 30 июня—1 июля. На рассвете.

Престранный денек: он повис над Тифлисом; и так же повис над душою; с утра комфортабельно позаписал впечатления; лекция—не волновала: нисколько; о Блоке такой материал, что... досадно; из „что“—вырастает протест; я теперь не люблю говорить о покойном поэте; о нем говорил и писал я достаточно: слишком достаточно; темы иные волнуют: сегодняшние, современные; мне выступать „бледным мистиком“, туго вперенным в былое, в которое—не разделяю, в которое критикой я против воли забит,—

не скажу, чтобы сладко; но любят поэзию Блока друзья мои: Арсеношвили, Яшвили, Табидзе; особенно—Арсеношвили; скорее читаю—для них.

Был весьма благодушен; и вдруг—изъярился подложной книжечкой,—„Блоком“, вернее статьею вступительной к „Блоку“; она мне нужна для цитат,—не статья, книга Блока; но я, налетел на статью.

И—тошнит: здесь—„марксин“ вместо Маркса; фальшивками эдакими убивают культуру марксизма: зачем Госиздат напечатал такую статью, когда „мистик безграмотный“—видит кричащее противоречье меж этим „марксином“ и Марксом; вот—теза. Блок—сильный поэт, к сожаленью, насквозь прокаженный; его проказил мистицизмом, конечно же, Белый, сей слон из архивов былого, вытаскиваемый, точно кукла сжигаемая,—в ауто-да-фэ; мы де упрятываем от читателей Блока здорового, любящего дьяволизм, а не ладан; оказывается, что сам „дьявол“ не есть суеверье: здоровье; марксист же, по-моему, должен не так говорить: ему—ладан не нравится; так,—но зачем падать ниц перед чортовой серою! Блок же писал, в духе серы, по-моему вещи невкусные:

Выпил я кровь твою.

Критик его, Машбиц-Веров, приветствуя „дикую дьявольщину“, должен поэтому и апплодировать живописуемому. Я же спрошу настоящих марксистов: он—прав? Машбиц-Веров приветствует в Блоке „попрание святынь“,—не каких-либо (религиозных, или буржуазных,—а так, вообще: попираие для попираия); рядом на фронте культуры с таким попираньем ведется борьба всей фаланги рабочих; чтобы доканать „проказителей“ Блока, советует Блоку он стать—хулиганом. Так, что ли?

Я спрашиваю настоящих марксистов: он прав, или нет?

Вообще интересна тенденция этого критика: там, где сжигаются ужасы средних веков,—против них выдвигается меньше всего диалектика марксовой критики, а—попирание, дьявольщина, патология („диавол“—психопатология, а попиранье святынь без разбора есть то хулиганство, с которым в республике борются); далее—я выдвигаюсь, как то, что до прать надо, то, что смердит: „мраком средних веков“; разумеется—мистика, мистика, мистика.

Так озаботиться мистикой—не показатель марксизма; а „мистик“, я,—просто забыл о ней; не говоря уж о том, что в истории всех отношений с поэтом, особенно в юности, „мистик“ всегда умерял пыл „мистический“ в нем; Блок грешил в годы юности „максимализмом мистическим“.

Белый же с Брюсовым вели борьбу с этой самою „мистикой“ и с анархизмом мистическим; „Белый“ когда-то почти что заставил поэта публично сказать этой „мистике“ „нет“¹⁾.

Пока Блок „прокажался“ мистически, как поступал „проказитель“? Позволю себе привести я цитаты; ведь я полагаю „поклеп“ есть „марксин“, а не Ленин и Маркс?

„Занятие теорией познания становится совершенно необходимым для... теоретика искусства... Мы хотим... доказательств, а не парок бабьего лепетанья... Кафедра... символизма превращается в базар крикливых баб“ („Теория или старая баба“. „Весы“, 1907 г.). „Мы призываем с пути безумий к ясности“ („Весы“, 1905 г. „Отцы и дети русского символизма“). „Вся эта смесь из небесных тонов..., мистических восклицаний, клюквенного сока и

¹⁾ Смотри „Весы“ за 1907 год, осенние месяцы: письмо Блока с отказом от мистического анархизма почти у Блока вырвано „мистиком“ Белым.

балаганного „бум-бум“... Нет, освободите людей“. („Утро России“ за 1907 год. „О символическом театре“). „Мистерия, мистерия“... кричали в некоторых кружках... дурманили друг друга наркозом горячки... Одно время мистериальный наркоз принял эпидемические формы... Наконец, кто-то на вопрос хозяйки дома: „Чаю?“ крикнул: „Чаю воскресения мертвых!“... Вместо игры... вокруг священного козла проволочились мистики в довольно гнусном танце... козловаке“. („Весы“, 1906 год. „Искусство и мистерия“). „Иван Иванович... развивает быстро столь мощное левое устремление, что его... нельзя остановить: „Бакунин—что Бакунин!“ Чулков... Так Иван Иванович становится мистическим анархистом... Он пере-сек все оттенки политической группировки, весь спектр... до красного: дальше не от чего краснеть. Иван Иванович чернеет. Он... инфра красный... Он... взойдет теперь справа... О, если бы вы, Иван Иванович, познакомились хотя бы с механическим мировоззрением... О, если бы... разучили основательно хотя... Эрфуртскую программу... Лучше социализм, чем мистический анархизм“. („Арабески“. „Люди с левым устремлением“, 1907 год).

Я бы мог в этом роде исписывать много десятков страниц из себя самого: против „мистики“; все то писалось в эпоху 1906—1912 годов; я в 1912 году напечатал статью против „мистики“ (Журнал „Труды и Дни“, № 2); смазь из „мистики“ и буржуазной культуры претила; за смази такие клеймил, отчего доставалось мне больно: от нынешних „прытких“ марксистов; о капиталистах, при-мазавшихся к символизму,—писал: „Как смеете вы хотя бы ценить нас... Идите себе в цирк... Мы, художники, посылаем вам наше неугасимое проклятие“. („Весы“, 1907 год. „Художник оскорбителям“). Или: „Пусть честные поборники пролетарского искусства... выбросят из своих

рядов представителей лозунга „и нашим и вашим“. („Весы“, 1908 год. „Литературный распад“). Разрыв мой в те годы с покойным поэтом—в том именно, что А. А. Блок одно время сочувствовал „мистике“ этой; но я его, каюсь, принудил почти напечатать письмо, отмежевывающееся от „мистики“.

Это же факты—не выдумка: все ведь статьи того времени—цели; ведь многие сотни страниц мной исписаны в эдаком смысле; вполне безответственно просто сажать меня в мистики,—это ль „марксистская критика?“

Так почему же сел в „мистику“ с капиталистами и всякой дрянью. Да Троцкий меня посадил, прочитавши мое заявление о том, что в стремленьях мистических я развивал „меньшевизм“, Блок же был „большевик“ (не в партийном, конечно же, смысле); я максимализм устремлений мистических в Блоке отметил. А Троцкий—прочел и сказал: „меньшевик“. Исполнялося щучье веленье, а не—человеческое; завопили „марксин“ разводящие не по-марксистски; с тех пор, как раскрою рот—„бры“: что—мистик, что—„белый“ (по Троцкому).

Спрашиваю настоящих марксистов: что ж это,—марксистская критика?

„Средневековье“ в связи с моим именем критик припел: мы воспитывались с поэтом во мраке невежества; прошу пARDону я: многие просто не знают, откуда пришли мы в культуру художественную; и потому или должен вполне отказаться от литературы (ведь „мистики“, „средневековисты“, зловреднейшие „прокаженные“ не выступают публично с речами), иль паспорт свой выявить; да, мы пришли в сферу слова из... сферы науки; и я, и покойный поэт детство, отрочество и юность свою провели в атмосфере научной; в университете родился А. Блок; его дед—очень крупный ботаник Бекетов; профессор—

отец; Менделеев, ученый размаха гигантского, с ним чрез жену породнился; так—далее, далее; „друзья“ поэта иль „проказители“—кто? Внук историка С. Соловьева; и я—сын известнейшего математика; мое обстание с детства—профессорский круг, представители точного знания: Умов, Жуковский, Марковников, Павлов, Мензбир, Млодзиевский, Зелинский и много крупнейших, точнейших ученых; вот где получил воспитание; далее, кончил естественный я факультет; мои лабораторные штудиумы—не оккультные штуки, которых открыть невозможно; учителя—Тимирязев, Зелинский, Мензбир, Павлов (справьтесь).

И после уже—появляюсь я в литературе.

Хорошее „средневековье“ меня воспитало: такого ж желаю я Машбицу-Верову; стаж его мне неизвестен: пусть выдержит передо мною экзамен по химии, физике, минералогии; если экзамен мне сдаст, то—пусть пишет: нет,—пусть помолчит.

Сомневаюсь, чтоб сдал он экзамен по Марксу; не претендую на Маркса, но Маркса—читал: Машбицу-Веров же—я „сомневаюсь штоп“. Можно ль от имени Маркса глуздачить нас „идеологическими над-строеньями“ и не вскрывать диалектики образов; или забыл он, что определяет сознание образов их бытие; бытие это—образы, данные в звуках и в красках, в материи слова; где выявлена диалектика красок и образов Блока? Нам не интересно совсем определение идей: „Незнакомка“, „Прекрасная дама“ (фигуры „мистические“), или—русская женщина, Катька (фигуры „реальные“); что понастроил над ними рассудочно Блок, как ономенклатурил,—играет значенье решающее лишь для критика-идеалиста; марксист оперирует с фактом: дан образ, дан звук, дана краска; дана диалектика их по годам; где анализ ее?

Фразы, фразы „мистические“: утвержденья, пустые „идеи“, еся сила которых,—безграмотность.

И ловлю себя вдруг: вместо „воспоминаний“ о Блоке — прочту: как бы должен „марксист“ подходить к миру образов Блока; решил, став марксистом, на Блоке раскрыть применение диалектической критики; схема: все творчество Блока, как теза, антитеза, синтез; а — мотто — девиз В. И. Ленина: „Октябрьская революция, электрификация“ (теза, антитеза), „плюс“; и — равно: социализм (или синтез); у Блока ж: „Прекрасная дама“ (иль — теза), „плюс“ мир „Незнакомки“ (антитезис), равны — России: в момент революции.

Мне ль „проказителю“, „мистику“, выступить вдруг на защиту марксизма от... Машбица-Верова?

Вдруг „остраннилась“ моя лекционная тема...

И — весело.

К вечеру небо нахмурилось: тучи, повисла гора; стало — душно; а мне — стало грустно, оболганному и открытому точно „проказой“ — о друге покойном читать.

Но — пошел; и — прочел: очень жаростно; что положил себе, то и провел; но — измучился.

Странный эффект получился; те, кто собрались, как „друзья“ (вероятно — недоразумение), вдруг поперхнувшись, потупились; многие, думавшие, что — „враги“, оказались в друзьях; ряд марксистов меня защищал; ряд марксистов, других — нападал; кругом споры возникли.

Друзья же — Табидзе, Яшвили — меня успокаивали.

— То, что сказано вами, должно было сказанным быть.

— Вы простите, что лекцию „воспоминаний“, к полемике свел я; но я не могу „вспоминать“, брать интимную ноту (ведь Блок был мне — друг), состоя в „проказителях“.

— Мы — понимаем.

Сидели в кафэ до трех ночи: и пенились речи за-
стольные; мне же в кафэ было грустно итти.

Политической революции—мало; нужна—социальная;
но и ее—недостаточно; нужно взорвать „обывателя“; без
революции быта критического—обойтись невозможно.
„Быт“ твердая штука. Ужасная приспособляемость!

Сел распрегрустный: сидение вместе расширило мой
кругозор—неожиданно; радостное приобщение к людям,—
не личное; происходило онò в остроумной, застольной
беседе, сближающей; громко читались друг другу стихи,
обсуждались вопросы ремесл поэтических; не ощущал
себя вовсе „поэтом“; с поэзией, взятой в кавычки, при-
вносится поза; гляжу на поэзию оком ремесленника;
„вдохновенье“—пустейшее слово; оно ж есть в матема-
тике, в быстрой агитке, в статистике; жизнь обыденная—
превдохновенна; пустое занятие мастеру цеха словесного—
запедалировать словом таким; интереснее поговорить об
орудиях цеха: как что—у кого; кто каким молотком при-
колачивает слово к слову, каким долотом выщербляет
эпитеты; дельно об этом сказал Маяковский стихами и
прозою ¹⁾; прозу его я б заставил учить во всех вузах;

Поэзия—

та же добыча радия:

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь

единого слова ради

Тысячи тонн

словесной руды.

Говорили о „слове-сырце“, „слове-радии“ мы; и о то-
ках высокого напряжения творчества: я вдохновлен, пока

¹⁾ „Как делать стихи“.

жив: с вдохновением снег разгребаю, котлету ем; так же— пишу; „вдохновение“ нужно, наверное, тем, у кого утекла сила жизни; могу говорить об искусстве и в терминах „препоэтических“; но целомудреннее говорить: производство конструкций; когда нападаешь на „мастера“— то просидишь с ним хоть сорок ночей.

Я б завел в „СССР“ мастерские ремесленные; в них загнал бы „поэтиков“, „критиков“; да и— читателей тоже; ну— словом: даешь — „Чит-Пис-Крит“?

В результате — знакомства; жена П. Яшвили, жена Т. Табидзе; с последнею заговорили о бедном Есенине, бывшем в Тифлисе, дружившем с Табидзе; сквозь рой непростительных слабостей ей угадался Есенин-ребенок, себя самого заморозивший; и, вспоминая, его называла она „золотою головкою“; Арсеношвили, Али, очень умный и тонко настроенный критик-поэт, как-то вырос в беседе; Колау Надирадзе, романтик, с женою, полтавкою, Гафриндашвили, писатель, общественный деятель, П. Катарадзе — вот общество наше, да Г. Робакидзе, — невидимый, но появившийся из всех ртов; отворяется рот: из него Робакидзе выходит; рассказывали о его силуэтах; ведь трогательно, что грузин углубляется — в Гоголя, Лермонтова, в Чаадаева, в нас, символистов; прошу извинения, — перевожу на свой лад, ограниченный и относительный, все впечатленья свои от грузинских поэтов; опять показалось: Яшвили — их Брюсов (конечно, де-факто, не Брюсов), Табидзе — Бальмонт (и весьма не Бальмонт), Надирадзе же — Блок; но под „Блок“, „Бальмонт“, „Брюсов“, я мыслю тип „ритмов“, в столетьях себя повторяющих; мог бы сказать, что Блок — Лермонтов, а К. Бальмонт повторяет Жуковского; суть не в „таланте“ — в повторе каких-то ритмических жестов, то поданных очень уродливо, то — с мастерством.

Словом: „вечные спутники“, ритмы, повсюду скликаются; и вот: в грузинах моих эти ритмы узнал; не забуду—конечно же.

— Мы—люди гордые,—Белый: и нам нелегко было выйти навстречу к вам; вы нас—не знали.

И я—поникал: *теа сура!*

Достоинство, произвольный во всех проявлениях такт,—подчеркнулись в беседе, среди зелени, среди переполненных столиков, нас окружавших; и выдвинулась атмосфера народной культуры; не только утонченников поэтической школы,—я видел грузин настоящих, являющихся в сердце Грузии,—вовсе не тех, кои нам представляются; мы,—„москаль“ и „кацап“; начну хоть с себя, из татарской Московии дикий „москаль“ сочиняет „хохла“; и потом удивляется, встретясь с „хохлацкой“ поэзией, что она звуками, силою нежности ставит высокий рекорд в конкуренции языковых достижений.

„Хохол“ справедливо в столетиях на „охохление“ его отвечал, что хохла—„кацап“ выдумал. Национализм—отвратителен; всякая нация—сила; „москаль“ и „грузин“, фабрикуемый нами—приводят к резне; я увидел грузин без кавычек; увидев, двояко почувствовал—русским себя (без кавычек).

Да, Грузия переполнялась культурой, когда мы, как звери, блуждали в лесах; они—старше; нам—надо учиться во многом у них; и учили: в застольных речах, поминая любезные символы: Лермонтов, Пушкин; а я? Мог ли я в переводе Бальмонта прочтя Руставелли, ответить им той же монетою? Нет: я—сидел, убивался; хотелось бы мне изучить двадцать пять языков „СССР-ских“, чтоб знать украинских, грузинских, персидских, армянских и узбекистанских поэтов.

И правы они, заставляя меня, „москаля“—им внимать: в легколетной застольной беседе; зачем нет обычая этого в нашей Москве? Почему, собираясь, писатели русские, курят и пьют среди галданов беспочвенных? Организацию надо ввести за столом; у грузин она—есть; и „пирушка“—не жратва, не пьянство, а дружеское заседание, которым естественно правит преловкий на эти дела председатель; вино—лишь глоток: при речах; а у нас—соберутся; и слово становится—только затычкой меж „водкою“ и меж „селедкою“; это—кацапчество; братья-писатели русские,—бросьте; учитесь сиденью у братьев грузин, где и „жратва“—для вида (какая-то овощь), вино,—говоря символически, трезво размешано чистой водою беседы, присев за которую, встать—неудобно; вести разговор сепаратный—вдвойне неудобно (сейчас же прервет председатель); у нас—соберутся, воссядут за стол; и—пошло писать: рюмка за рюмкою; спины друг к другу свои повернувши, сосед громогласно соседу кричит, отчего поднимается „ор“, от которого зеркало лопається—„ор“, крушащий равно все беседы в осколки разбитых бутылок; сих сборищ писательских—пьянственных, жратвенных, орных, порой оз-орных,—не люблю.

Оттого-то в грузинской застольной беседе душа открывалась: „москаль“—научался.

Табидзе, президиум, тонко поставил беседную тему; за тостами—тост; каждый—главка, вытягивающий тонко кого-нибудь; втянут—Яшвили: встает, говорит, дополняет; и вдруг неожиданно тащит молчащего Арсеношвили: „Вставай, говори-ка,—неси трудовую повинность“.

Тот—хочет, не хочет: встает, говорит, перекидывая слово-мячик вдруг нам, „москалям“; теперь—мы отбываем повинность; как общая тема, хотя б „о стихе“, извиваясь,

всех оплетает: работает жарко ремесленный цех; кто несет свое шило, кто тяжкий рубанок; и—строится живо конструкция соотношения сил поэтических в этой семье, предо мною развернутая.

Научен: сыт не мясом, а—знанием, пьян не вином, а душевной игрой всех сидящих; и ухо полно звуком строк, а не „бром“ бессмысленным и многогорлым.

Древнейший обычай грузинской застольной беседы весьма заставляет подтягиваться: коллективное творчество; этот обычай я сделал бы общенародным; „Интернационал“—он.

Я сел, утомленный, взволнованный, грустный; встал—подбодренный, согретый; кругом—разошлись; уже дождик прикрапывал; молния зеленая выхватилась из-за черной горбины Давида.

Прощаясь, мы говорили о завтрашнем дне; у Яшвили—обедаем, а у Тобидзе—пьем чай.

Тифлис. 1 июля.

Преторжественно вносит М. *) номер газеты; статья: „Андрей Белый“; и подпись: „Тобидзе“. Преозадачен... Был себе „при Мейерхольдах“; вдруг стал—„от себя“.

Есть такие, которые в жизни своей ни строки не прочли из тебя; ты для них—житель „Марса“; на Марс—не попасть; „Андрей Белый“—проказа ли, гений ли,—им что за дело? „Борис Николаич“ с естественным носом, с ушами—услугам их; этот „Борис Николаич“ не требует вовсе, чтоб „Белого“ книги штудировались; просит только—не лгите. Коли не читали—молчите; не требую знаний „себя“; сорт людей упомянутых, зная тебя по неправдам хулы и похвал, все ж кладет резолюцию: „вор“ или „великий“. Ну, словом „Борис Николаич“ почувствовал к прыщiku носа большой интерес: стали трогать

его; появлялись намеренья, в нос вдев кольцо, протащить по Тифлису; и все от того, что в газете хвальнули; от этого брэнного факта пошло и пошло; чорт возьми:— „Что Гекуба вам?“ „Белого“ вы не читали, с чего принялись наряжать в кольца, в перья; я ж— не папуас: нос оставьте в покое—чихну: неприятно же будет; для вас я „Борис Николаич Бугаев“, в милиции закономерно прописанный; не создавайте слащавостей; и неужели ж меня вам не стыдно?

Сегодня—программа: знакомство с грузинскими блюдами; тучный „обедище“ у П. Яшвили; хозяева дружно варили грузинские блюда; уютно себя ощущали у добрых друзей; в этот вечер запомнился как-то особенно мне Леонидзе; и новыми лицами круга грузинских поэтов; завивалась цветисто беседа застольная, вставши плющом виноградным из слов над столом-очагом; пять часов продолжался обед; много блюд подавалось: рыбных, мясных и словесных.

Тифлис. 2 июля.

Не день—суемятица; беги, отправки вещей и камней цихис-дзирских в Москву, магазины, прощанье с Тифлисом, визит пред-прощальный к Табидзе. Зашли в Национальный Музей: посмотреть миниатюры персидские заперт!

Потом—чертежи: схему к вечеру: должен в „Дворце Искусств“ я прочитать реферат для любителей рифмы о жесте ритмическом; тема—заветная, тема—любимая: способ счисления кривой того целого, что называется „ритм“, что не вскрыто никем; демонстрация—взятие „Медного Всадника“ Пушкина в математической линии ¹⁾.

¹⁾ На эту тему выходит моя книга: „Кривая ритма и „Медный Всадник“.

Я волновался, поэтам кривую неся, потому что считаю: мой метод точнейший в научном разрезе, являет— во-первых: ритм есть диалектика соотношения строк, взятых (тезою, иль антитезой, иль синтезом); „ритм“— очень сложная, ни от каких трафаретов (хорей, ямба, спондей) независимая, переменная; в нем выявляем— „заказ“; наконец: выявление это оправдывает заявления поэтов о том, что „звук“ будущих стихотворений— действительно определяет все прочее: образы, краски, словесный состав; в звуке мастеру—подано „эхо“ среды социальной; так мыслилось Пушкину, Блоку—и всем настоящим поэтам; В. В. Маяковский, прекраснейший „мастер“, преточно сказал: „Ритм—это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество—это вид энергии... Ритм может быть до того сложен и трудно оформляем, что до него не доберешься и несколькими большими поэмами“²⁾).

Профессора от „метристики“, ритм пришивая к размеру, злоредно разваливают аксиому поэтов, основанную на точнейшем ошупанном факте; мой метод—показывает: вот он—факт; объяснения и разъяснения—отметены: математикой; неразложимая сложность энергии, из глубины выплывающая, кричит диалектикою перегибов кривой: „Я—такая вот, неразложимая, забронированная от всего, что в софистике „метрика“ с размером связует меня“.

Ритм рождает первейшую интерпретацию темы „заказа“; в нем—нет личных штампов, „Ивана Иваныча“; в образе, в краске—наросты, суженье оличненье (и искажение) темы

²⁾ В. Маяковский „Как делать стихи“. Стр. 409 (том 5).

заказа; поэт окрыляется ритмом; как тем, что ему посылает мандат, и неважно, что в древности этот мандат коллектива в поэте считался за крылья „Пегасовы“; мифологически или мистически, переживали—веленье среды; диктатура ее проводилась под формой суб'екции мифа; так „мистику“ поэтизации метод кривых дешифрирует; вовсе не надо бояться словечек „Пегас“, „Аполлон“ у старинных поэтов, а надо уметь их марксистски вскрывать в диктатуре диктующей; чьей? Коллектива; грек древний, вещающий об „Аполлоне“ (сей маске не снятой), реальнее тех, кои, фыркая (хе: „Аполлон,—хе-хе-хе“), не желают считаться с велением звука, веление это толкуя предвзято. .

„Веление“ есть; „Аполлон“—образ ритма, как тема заказа, а „крылья Пегаса“ и прочие гиератичности стиля, эпохи и класса, есть шифр предрассудков эпохи,—вещь вовсе не страшная.

Метод счисления — ритм девуалирует переложеньем „крылатого“ слова в действительность.

Мною написана книга об этом; в ней—техника манипуляций изложена: к ней отсылаю.

Скажу: коль в метрической форме число („три—для ямба, а два—для пиррихия), то—допустимо: измеривать в метрике; как в измеряемых символах неизмеримое встало бы? Величиною порядка, в котором сама „бесконечность“ равна единице; и тут возникает—число, как комплекс, независимый от величин, находимых в нем (или—метров). Ученье о числах-комплексах—развернуто аритмологией, иль „социологией“ чисел; берется число коллективом; в различии математических сфер, в строгой грани, лежащей меж принципом формул,—раздвиг математики, или вся сумма работ Галуа, Софус-Ли, Клейна, Абеля.

Вскрыты в теории чисел энергия неразложимых понятий: комплексность; она — то известна поэту, как ритм. Маяковский, рисуя свой ритм, защищен: 1) всей эмпирикой знания стиха; 2) всею логикой математических принципов. „Профессора“ же от метрики, опытов сих не имея, плодят шкафы книг, — „пропылеи“ ненужнейших правил.

.....

Сюрприз: сервированный стол; ах, — букеты; и бедный „Борис Николаевич“, с медным кольцом в нос проде-
тым, — сконфужен.

.....

Несчастью вскочив из-за тортов и роз, бедный „Белый“ бежит к реферату; в „Дворце искусств“ —рой разговоров, знакомств: между прочим — с писателем очень культурным: лезгин, Ингароква, историк-этнограф.

Час — поздний; ускоренным темпом зажаривал лекцию; в два с половиной часа, кое-как проперев сквозь зигзаги хребта принесенной кривой („Медный Всадник“), простился с друзьями (до утра): бежать; проперев сквозь хребет поэтической линии, нам предстоит ведь переть чрез Кавказский хребет: двести верст.

Еще долго укладывались.

В три — присвистывать стало; Тифлис предрассветный — свинцовая мгла; капли хлюпнули в стекла — с гор кто-то расплакался; да: ничего не увидим в пути.

Стоит тронуться в путь — исключительный случай; вчера утешали меня: в эти числа в Тифлисе — жара, пыль и суши; приехали, и исключительный случай — приехал за нами (в батумском вагоне); теперь заливаает Кахетию он; хлещет дождь в Эривани; и воображаю, что будет в горах; нет надежд: исключительный случай — господствует.

А в Цихис-Дзири господствует норма теперь.

Уж четыре часа; безысходно: хлющавая слякоть; и лякает кто-то калошей под окнами; кряканье ставен; под звук отвратительный—кто-то сырою мочалкой трется в окно; я— не сплю; пять часов: и грузин, погоняющий ослика, скоро „Антон“ помянет под окнами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА.

Владикавказ. 3 июля.

Так и не спал.

В шесть—вскочили; в семь—чай; в половине восьмого—простились; сбор—Эриванская площадь; час—восемь часов.

Пунктуальны!

Экспедиционная база—пуста; хорошо еще—дождь прекратился; погода—двусмыслит: глаз левый—затучен; из правого—солнечный луч; потом—правый прикрывается; левый—стреляет лучами: из облака в облако; в улицах—тьма; на горах—копашня тучевая: там—облако с облачком водится; мы наблюдаем: поездки небесные из-за горы к удаленному Владикавказу; сам ветер—попутчик.

Ждем: площадь пуста; половина девятого.

Вот... появляется... Арсеношвили: лениво стоит в горизонте, вперяясь в пустую машину (в духане шофер); из семнадцати спутников—Арсеношвили да мы; но и он, постояв, удаляется, нас не увидев. Являются медленные, благодущные: Яшвили, вцепив вцикский знак; и—поэт Леонидзе; и бродят по площади, но, не встречаясь друг с другом, расходятся медленно.

Мадам Табидзе!

Мы—к ней: возбужденно:

— Ну что же?

— А,—здравствуйтесь.

— Что же?

— А что?

— Опоздали!

— А, что вы! побродим,—сойдемся: тогда и поедем.

И так об'яснив, исчезает.

Пришел Ингароква с супругою, милою, нервной дамой; я думаю: разве в неделях сойдемся: все вместе; уехать сегодня—немыслимо; благоразумней—домой.

— Подождем—соберутся.

— А если погода испортится?

— Трудно сказать,—где какая погода; ведь путь—двести верст; в горах—быстрые смены; где дождь, где погода—сказать невозможно отсюда.

Уже приходили Табидзе, Колау Надирадзе и Гафриндашвили; все—были (не раз); и—становится весело; площадь—ронится; одна за другою машина слетает на Владикавказ.

Ура: все!

Две—машины: большая и маленькая; в последнюю сел Лоенидзе; с ним два видных деятеля (коммунисты); мы ж едем—в большой; Ингароква садится с шофером; он есть представитель президиума (от „Союза Писателей“); нас усадили вперед; рядом с нами—мадам Ингароква; другие—за спинами.

В ноги огромный букет положили.

Летим: и домами Тифлис застрелял; стоп: и—стали.

Выскакивает благодушно пред лавочкой кто-то.

Поехали: стоп!

Снова выскочил—кто-то за чем-то; я думаю—сели на мель; и наверное, к вечеру,—эдак часам к девяти, доберемся до... пригорода; и—назад повернем: неудобно лететь в темноту.

Все же—выбрались: лавочки, рифы,—остались: ска-тертью стелется, мчится дорога под нами; обскакивает; за спиной—отлепetyвает.

Холмогоры, которые мы уже видели; сносится за спи-ны вся передмцхетская местность; дугу описав, старый Мцхет уступает дорогу не мцхетским местам; заворачи-ваемся на город, в веках погабающий: серый и старый; и Мцыри—повесился: так же.

— Прости!

— Здесь я выросла,—да.—Закивала мадам Ингарок-ва на монастырек, проветшалый, подсевший к соскалию.

— Как?

— Здесь училась: в школе.

Не верится.

Перекачнулась утесами рамка долин; мы, прижатые к скалам отвесным, завинчиваем фут за футом над уров-нем моря; зеленая прелесть долин виноградных направо упала и врезалась устьем под Мцхет, а истоком откину-ла холмности, перепоясавшись зеркалом голубоватым Арагвы; обломана сторожевая руина: остаток круглеющей башни, построенной, кажется,—римлянами; между башней и краем скалы пробежала машина и вынеслась в ширь упоительную, с переката горбатого вставшую.

Мцхетские местности срезаны.

Но забираем попрежнему—вверх; тут, как мопс, та-рахтя, нас обскакивает небольшая машина; и с дикими гиками мимо несясь, повергает фуражку, сплошной руко-ног веселящихся спутников, нас обскакавши, бензину

наддавши в носы и исчезнув в смутненье серебряном— полудождей, полудымок; мой друг углубился в беседу с мадам Ингароквой; бросаюсь словечками с мужем ее, вздевшим шапку барашковую и от этого ставшим лезгинном; кричу о красотах зеленых долин, а Яшвили со мной перекрикивается:

— Кто Грузию нашу сравнил со строкою поэта— не может солгать, потому что такие сравнения...

Не слышу, но—верю: беру от него комплимент, как и старый, в оправе серебряной рог (из него испивают грузины); мне рог подарили Табидзе: в него затрублю.

На нас пачками выстрелил фронт перспектив; залетав по горбам и имея направо зеленые склоны долины, дробимой подхолмьями в многодолинчатость.

— Место, где князь Чавчавадзе убит был!

И мне показали кустами от нас убегающий скат к Карталинской долине; то тот, то другой из поэтов, вскочивши на полном ходу у меня за спиною, и бросивши руку вперед, давась ветром, с плащом отлетающим, громко кричит, рот раздрав, свои строчки гортанные, режущие острием дактилических рифм, точно стрел наконечником, воздух; и слышится в общем потоке кричания только какие-то:

— Ххалебэ... Далебэ... Мхэкэпэ... Цхэкэкэ...

Ясно,— в такой ситуации речь разговорная выглядит глупо; порёвывать— можно; молчать— тоже можно.

Порёвывал— тот; и помалкивал— этот, над густо косматой культурою лоз Карталинской долины; разрезав течение реки Гортискури, пронесшись над нею (здесь— мост) и швырнув себе за спину, точно зеленую скатерть, долину, селенье Цилканы разрезали и затянулись горами, покрытыми лесом, как крепким корсетом, летя на хмурев-

шие выси; таился за синею тучей хребет; перевал Базалетский; и виды на гору: Седло.

Под'езжали к Душету.

Я стал волноваться в обстаньи развернутых видов; отец возникал предо мной, как „маленький Коленька“, — не как профессор Бугаев: ведь он — уроженец Душета; бывало, меня посадив на колени, поглаживая, с восхищением он развивал из арбатской квартиры — лет сорок назад:

— Что природа московская, Боренька: ты бы, дружок, Кавказ посмотрел: там не ствол, брат, — стволище, такой вот — и руки раскидывал.

И предо мною Душет возникал: и в нем — дедушка, храбрый наездник, любимый солдатами, горцами, даже лезгином, с которым он дрался; он — доктор военный, лечивший десятками пленных, и с ними встречавшийся в дичах: один на один; разряжали они пистолеты на воздух; и, как кунаки, гарцевали над пропастью; припоминался мне князь Чавчавадзе, к которому гащивать ездил „Василий Бугаев“ и с ним распивать кахетинское; старые годы живели в рассказах отца, — скорей деда по возрасту (в тридцать седьмом он родился); он в сороковом году помнил уж эту долину; в то время жил Лермонтов под Машуком; Лев Толстой еще не был здесь.

Да, — старина обвивала плющами.

Яшвили с Табидзе, которым сказал я, что Грузия родина мне, показав на Душет, живописно открытый направо, у склона горы, предлагали:

— Заедемте?

Ехать? Зачем! Все равно же не знаю — ни улицы, ни места дома, в котором родился отец; что-то грустное есть в слишком близко придвинутом прошлом; к тому ж — подзапаздываем; а хотелось до тьмы любоваться Дарьяльским ущельем.

— Не стоит.

Дорога, дугу описав, забиралась зигзагами кверху; в седле, меж двух гор,—перегиб перевала Душетского (тысяча метров над уровнем моря); и—вставшая даль с маршем синих гигантов на нас; пред собой они взвели синие хмури; во всех измененьях рельефа и действиях воздуха сказывалось: наступление грозного фронта; валили распухшими конусами и валящимися облаками; а мы—утеснялись ущельями.

Передавал Ингарокве рассказ, мною слышанный; трехгодовалый отец ясно помнит: забухали выстрелы; бабушка — плачет, а дед—утешает: она — неутешная; двадцатитысячной массой, свалившись с гор, крепостцу обложили лезгины; отряд крепостной очень мал; вдруг как грохнет... Тут память отцу изменила; он помнит следствие: помощь пришла—таки; и, прокричавши, лезгины полезли на горы.

Я был поражен: этот тонкий историк окрестностей, кровный лезгин заявил:

— Факт, рассказанный вами, действительно был в Анануре, который есть крепость, Душет защищавшая; мы—под'езжаем к нему; коли вы захотите, сейчас попадете в те самые стены, где батюшка ваш пережил нападение лезгин.

Так вот: старый рассказ, возникавший туманно, как миф, и случайно припомнившийся в этом месте, осел матерьяльно вот этою вздернутой местностью, очень дичавшей лесами и гребнями; может, через эти леса и растрески крутизн подползали лезгины с сердитейшим дедушкой Ингароквы, чтоб сделать „секим башка“: деду Бугаву; внуки, воссевши в удобной машине, летят над былым и беседуют об утонченных проблемах культуры; сегодня ведь выслушав из этих добрых, смеющихся уст фолиант

комментариев, я поучался; в двадцатом году Ингароква, попавши в Москву,—мою лекцию слушал.

И вот — Ананур.

Поселение средь перетряса распуганных желтых земель, припустившихся в бегство, сбежавшихся снова — усесться: попрежнему; но — не усевшихся, а развалившихся, брошенным лагерем с рядом палаток, изорванных ветром, с упавшею пушкой, с телегой, зачем-то подъявшею оглоблю: под облако; горы — в лесах и в безлесиях, то волосатых, то желтых, плешивых; растерзанный вид неподвижно ленивого и сине-серого неба, в повешенных облачных комьях серявых, с пролетом, лучащим столбы; небо вместе с горами — тревожилось; жар раскалялся — внизу под поселком пылило (под Мцхетом же лужи серебрили).

Селение серое, сонное; выше, над ним, — на склоненьи под холм — серобокая, неравнобокая крепость надсела лет двести, стенами и башнями, сжав превосходной конструкции церковь; правители местности здесь проживали когда-то, за серой стеной под набегом лезгин, упдающих с северных гор; крепость строена прочно; высокая; сторожевая, квадратная башня, привстала над башенками; Эристава Бардзима зарезали; после же дед Ингароквы хотел резать: деда Бугаева (это — фантазия).

Странное место: в нем сон воплотился; события сороковых годов, дедом испытанные, пережил я; и, встав из машины, — над сонным селением шел по холму желтоватому, или по линии времени, — вспять; уже стены — замкнулись; в четырехугольнике — сороковой год столетия прошлого, трехгодовалый отец; за стеною — лезгины; военный сигнал раздается: атака!

Фантазия это; сигнал пробудил: нас скликает, наверное, автомобиль; разбрелись, — а пора: солнце жарит,

душнеет; и так запоздали; повертываюсь: мой дорожный товарищ, мадам Ингароква, Колау Надирадзе — зовут к старой церкви: ее отворили; но как-то рассеянно тычусь в сырых, темноватых стенах; церковь лучше — снаружи: прекрасная лепка орнамента: витиеватость сплетения, столь характерная здесь для культуры строительной; вновь отделившись, выглянул из-за бойниц на окрестный раздерг котловин и отвесов, покрытых лесами; и — сызнова прошлое: сорок ведь лет пораздумывал об этой крепости, сказочно вставшей из припоминаний отца и подставленной ярко действительным фактом: мне сорокалетие переменяло рельеф.

— Очень странно!

Спускаемся: автомобиль — призывает настойчиво; от стороны перевальной, с гигантов хмурых, — пучится громокипящее море; оно захлестнет нас; и если желаем увидеть хоть что-нибудь у перевала, то — в путь; таких мыслей — шофер; таких мыслей и я; но — машина пуста: разбрелись, — без надежды собраться когда-нибудь; Арсеношвили и П. Катарадзе, спокойнейше здесь просидевшие под верещанье гудка, призывавшего в путь, вдруг — проснулись: неторопливо пошли прогуляться; мы — ждем; мы — волнуемся; мы уже в сборе; их — нет; побежали тащить их; и — канули; я — заявляю, что следует нас объявлять бичевою: и — стадом бродить; наши дамы глядят на меня с удивлением:

Вот, — наконец: с гор бегут, размахавшись:

— Нашлись!

— Где ж?

Фигурки, бегущие сверху, показывают: еще выше.

— Там!

Ждем... Наконец, появляются, медленно и величаво восстав над утесами: Арсеношвили и П. Катарадзе; впе-

рившись в нас, нам помахивают; и торжественно, не торопясь—опускаются.

Сели: поехали—к Пассанауру (верст двадцать пути).

Местность эта запомнилась менес; я не скажу, чтоб она не красива: красива; наверное, местности—квалифицированы: облагать полагается их превысоким тарифом похвал, как в Боржоме; а стало быть,—как в приозерных швейцарских горах, многократно увиденных и многократно зализанных глазом туриста, с веранды отелей поганящим местности; не фининспектор я; и—утверждаю: „туристичий“ глаз—глазит местность; утес, не защелкнутый в рой кодаков, совершенно иной, чем защелкнутый; этот последний,—как будто облизан; ландшафт, пред которым таращились „янки“, становится мерзко подмасленным камушком (для—вящих глянцеv); иные любители камушков пляжа их маслят; иные ж советуют их растирать—на носах; после масляных дел... проститутками выглядят камушки; кто растирает у носа морские дары, представляется мне почему-то при галстухе, но... без штанов.

И промасленный вид получает ландшафт, умножаемый щелканьем американских „кодачников“; пахнет... сигарой и виски.

Неслися в обстанье зеленых покрытых лесами горин, исщербленных рядами слетающих с них перегорбий: все то еще — „reizend“, не — „hoch“.

Но под Пассанауром полезли под небо высоты; и стало выглядывать что-то—между; что? Вершины: но—странные, сложенные точно небом; заглянет; и—нет; глянет—там; глянет—здесь; и от этого „ока“ все,—будто возвысится.

Странно!

Все время казалось, что катимся вниз; то—иллюзия: мы—поднимались; но выростание гор шло стремительнее

выростанья дороги; она — поднималась медлительно; горы же в небо неслись — курц-галопами; каждая к нам приступившая с севера круча, сперва привставала над той, под которой неслись (под лесной), — привставала кустарником, строго разглядывала, кто такие; и после уже, убеждаясь, — появлялась при нас: конвоировать боком крутевшим; и тотчас над нею, привстав мелкой травкою, конус вышинный, осолнечный, бритым лицом занесясь, из раздымок расспрашивал, — кто мы такие.

И — нехотя брался: сопутствовать, став еще выше.

Гранение почв, осажденных из воздуха розовожелтою массою выше лежавшего мира, державшего в темени синь, потрясало; показывали круто вверх занесенной рукой, — под углом уже в семьдесят градусов:

— Вы посмотрите-ка!

— Видите?

И — удивлялись, смирнея, вбирая крепчайшее, как алкоголь, дуновение в грудь; стало четко пощелкивать где-то под ухом (знакомые звуки высот); пульс же — рвался.

Слияние Черной и Белой Арагв, иль — струй разделенность.

Под Пассанауром, за нами, — задорный рожок; повернулись; точка из пыли; несется вдогонку, — как черная мушка, как черный жучек, как собачка, как... как... нарастает; машина квадратная воздухи рвет.

— Это — наши!

Под'ехали.

Как из-под Мцхета рванулись, — так сгнули; а оказались — за нами; из автомобиля выскакивает Леонидзе с запиской:

— Душет — вас приветствует.

Милая, добрая, очень игривая, — шутка-приветствие; наши друзья, обогнав нас, слетали в Душет, и набравши

там подписи от настоящих душетцев, узнавших про „Белого“, — „Белому“; я же серьезно растроган; ведь этой запиской Душет, моя родина (т.-е. отца), отзывается прошлым; не даром же я волновался, не даром стоял Ананур воплощенной явью; записочка эта — улыбка Душета и память отца, память деда.

— Спасибо!

— Из Владикавказа, черкните душетцам ответ... — улыбается мне Леонидзе — Сумею в Душет переслать мой: — брат.

.....

Появляются домики Пассанаура, — из зелени, жмушейся тесно к подножью перпендикуляров, уткнувшихся в очень высокую синьку; Тифлис лишь на метров четырехста поднят над уровнем моря, а Пассанаур — выше тысячи; на самое себя севшую гору Давида рисует наглядно под'ем наш с Тифлиса; а Пассанаур затоптали гиганты взлетевшие к двум с половиною тысячам метров; задравши носы, удивляемся им: высота от подножий к вершинам равна приблизительно, — полудесятку „Давидов“, воссевших на плечи друг к другу; под'ем же — крутенок; какие-то „выспри“: там — „выспрь“; и тут — „выспрь“. Это — дачная местность: тифлисцы с'езжают летом сюда; веселейший зелененький, горнолесной уголок; у духанов — живейшие кучки; снует возбужденный ездой далекою люд: комсомольцы, оркестрик, туристы; сроение черных и серых машин от огромных до... маленьких; перед гостиницей есть ресторан; в этом пункте встречаются владикавказские автомобили с тифлисскими.

Пассанаур — половина пути.

— Вот куда бы на дачу?..

— Совсем не Боржом: Разборжом!

Пролетаем чрез эти прекрасные местности; надо сюда прибегать: с побережий, с Тифлиса и с севера.

Высочили, потерялись среди кучек чужих; уже роимся в рое; Яшвили уже—повстречался: знакомые—из Кисловодска, в машине; заказывать стали обеды; боюсь, что—засядем: не встанем.

А странно, что Пассанаур мог легко оказаться могилой моей; Ананур же—могилой отца, деда, бабушки; им угрожали—лезгинь; со мною случилось по слову писателя: „Он ахнуть не успел, как на него медведь напал“.

Милый Мишка!

Их—два было: раскосопалые, раздобродушные; и—небольшие, в железных ошейниках; без загородки метались они у столбов; преестественно думать: ручные, почти что—„мишата“ (кавказский медведь меньше нашего); переносить уморительное копошень „мишат“, не затеяв игру,—невозможно; и я подбежал к одному: потрепать по коричневобурому боку; не мог я заранее знать, что он—злой, нелюдимый дикарь, коли он без ограды метается: вокруг него бегали дети; и я—потрепал по заостренной морде; тут злые, свиные глазенки уткнулись в меня; обнаружился клык очень желтый и очень большой; не поверил враждебному виду; еще сделав шаг, наклонился всем корпусом к тупо опешенной морде; и—вдруг: оказалась нога моя выше колена обцапкана очень мохнатыми лапами, с силою рвущими прямо к себе; пришла очередь мне быть „опешенным“: „пешка ничтожная я“,—так метнулось в сознание, не верящем, что то—всерьез; но когда морда, скалясь, приткнула к ноге моей клык (я его ощутил сквозь одежду), чтоб хрустнуть ногою, поняв, что такое возникло, — быстрее рванулся назад; этот „рыв“ на мгновение спас, потому что ошейник давил по звериному горлу; дикарь, поперхнувшись, не прокусил мне ноги, но рванулся за мной, натянув свою

цепь; стал вне сферы его; но нога, еще крепче зажатая в страшных когтях, испытала сильнейшие рывы; зверь явно подтаскивал ногу, стараясь втянуть в сферу зверя другого, такого же „мишки“, чтоб вместе со мною покончить:

— Серiously; борьба не на жизнь, а на смерть.

Из последних силенок рвал ногу, но силы скудели в могучих клещах; и—мелькнули окрестности великолепные, солнечные; была жалость, что я не увижу Казбека (а вовсе не страх); в этот миг я увидел, что кто-то, возясь над медведем, бьет палкой (не действует); бросил тогда:

— Дайте палку.

И—выметнулось:

— Что есть мочи: по носу!

Потом вспоминал я, что действовал с трезвым расчетом; кабы размахнулся, размах дал бы время рвануть (тут—„капут“); без размаху я—свистнул: по носу; и я удивился (потом), с какой силою; я и не знал этой силы в себе; я—попал в уязвимую точку (медвежий нос,—очень чувствителен); бухни по черепу—нуль; точно опытейший зверобой поступил (это все мне потом стало ясно); эффект—удивительный: зверь, завернув свою морду, и лапами пнув, отвалился, а я—покатился обратно: на спину, увидев, что друг побледневший стоит с растарашенными от испуга глазами (он в это мгновение—сцену увидел).

Вскочил, оправляясь; тогда подбежал ко мне плотный и мне незнакомый брונет:

— Вы счастливо отделались.

Не по себе: растерялся.

— Подите, оправьтесь.

Пошел; и оправился я—не от страха: от оторопи (физиология действовала: сердце—прыгало); но растерялся в борьбе—мне не вырваться бы.

Через миг инцидент с неподатливым „мишкой“ казался смешным и далеким; и я не сумел его выяснить толком, не веря „опасности“; да и друзьям было трудно поверить; поверили: мадам Табидзе, мой друг, неизвестный брюнет, да возившийся с палкою кто-то, кому приносил благодарность: за палку.

Казалось: эта борьба моя с „мишкой“—черта: до нее—воспринять одни; и за ней—все другое: „такое“, что нет сил сказать; ходил с растарашенным взором, немой и застывший во всех проявлениях, чувствуя странную, невыразимую силу динамики в пульсах своих (вместо тела); сидел и ходил, как без тела; но это не „мишка“, а—горы.

Как будто впервые я их увидел.

Подходя к перепуганным мишкам, коричневобоким, взволнованным „нашим скандалом“ (они суетливо метались, шарахаясь от комсомольцев, прошедших с оркестриком с песней и с лозунгом, вздернутым красным полотнищем в синие выси),—хотелось смеяться нелепости этого случая (точно случился он где-то в далекой, чужой, независимой жизни).

Сидели за столиком: речи прощальные,—как корабли дальних плаваний; я—говорил; ну и,—мне говорили; шофер присылал поторапливать:

— У перевала сроилися тучи!

Я стал агитировать за ликвидацию пассаанаурских банкетов, стакнувшись с Яшвили, который, вперяясь в часы, свои реплики вкрапывал в тосты:

— Чрез две с половиной минуты...

— Осталась—минута.

— Идем!

И—пошли: мимо „мишек“,—к машине.

Тут я—обалдел; как-то сжавшись, ревел про себя от восторга; взглянувши на друга, увидел блаженнейшее выражение глаз, не глядящих почти, до краев переполненных; верно глаза мой лезли и вклеились в мощи утесов, которых, как... не было: все стало легким, сквозным, непомерно протянутым.

— Вы—оглянитесь.

— Оставьте же: я - не могу.

— Это...

Даже смеялись мне в спину, но я—не стыжусь; не увидеть же—проще, чем видеть; и про дорогое лицо можно выразиться: „Вот—кожа“; и—правильно: кожа; про эти ландшафты не стоит труда отбабацать: торчки! Про ледник Девдорахский, прокрякает кто-нибудь: „Что же, ледок грязноватый, в котором не прочь заморозить шампанское!“ Все это—истинно; лучше подобные истины прятать; свидетельствуют они только о трупности всех восприятий; то—истины „слепнущих“; слепнуть—не есть реализм; реализм—это видеть (чем больше, тем лучше); развить динамизм восприятий; фантазию нужно иметь, чтобы видеть; и „пес“, и художник стоят пред полотнами; видят же—разное; „пес“—неприятные примазы, годные, чтобы над ними поднять песью ногу; художник увидит здесь кисть Рафаэля; простите меня, кто в невесте отметит лишь кожу потеющую, а в Казбеке—сплошной „погребок“, для меня уподобится в силе своих восприятий лишь псу.

Если был переполнен „чрезмерно“—то значит; „чрезмерное“—мера моих восприятий действительности; а не фикций; не фикция—цель Рафаэля: картину явить; и фиктивность увидеть—квадрат приготовленный для орошения песьего.

Когда мы тронулись в путь. Катарадзе сказал:

— Тут—начнется.

И—вот: началось.

Что? Но—как мне сказать: ничего; победнела, пожалуй, окрестность: леса уползли; даже кустики сбрились; но катастрофичности срывов, теснин, я не видел; и все же: подобного в Альпах, в Норвегии (где и теснины и прочие „ужасы“) — тоже не видел; вся ширь изошла очертаниями ненормально протянутых линий и складок, воздушно намеченных; где крепкотелые земли? Все пронизуемо, вольно; обычные ошупи скажут:

— Ну—горы: как горы!

А их выражение?

Переменилось оно: остранилось; из тысячей тонн пережженного угля скристаллится в блеск: бриллиант; из горы рудяной—граммик радия; из ландшафтов, виденных нами, — эссенция тонкая, неуловимая, выжалась, дав выражение этим погибельным высям; умеренность их очертаний—линейный ракурс Хокуся, итог зарисовок всей жизни, являющий Фудзи.

Так: только могу я подать негатив впечатлений, сковав выражения в формулу; образ—не действует; воображение—меркнет; ландшафт этот—формула: мысль; она действует жестом,—не живописью.

Все отдельные горы, которые к Пассанауру росли до предельных вышин, уростая до неба, за Пассанауrom—снижались: не ростом (превысившим прежние росты), — а явным сползанием с неба; их—жест: сверху—вниз; жест вершин, до сих пор попадавшихся,—вытянутость: снизу вверх: так бы выразил перемещение рельефов.

Обстало; стояло ужасно: перпендикулярами, не обнимаемыми до верхов; и—казалось: они коренятся в пространствах заоблачных; в Пассанауре—подобия Атласов; Атласы вдруг обезглавились; главы и плечи нырнули в лазури; лазури, врезаясь меж розовосерых и серозеле-

ных неясностей, образовали громаду, стоящую вниз головой—из небес; и поддерживали эту местность, дорогу, нас ехавших в переброженном виде над небом (не— „под“): растворенными, голубоватыми главами.

Здесь отпихнулись лесные горбы, великанами, выше стоящими,—спрятанными еще в Пассанауре; толпа над лесными вершинами, вставши по грудь,—опрокинула их, ставши подле; но: ставши, громады сквозили; и палец, казалось, их мог бы проткнуть; гладкоголые здесь намечались зигзаги—в просветах, как схемы намеков; отбросился натурализм реализма; все стало—лишь символом, умопостижным и полупостижным; глаз, ставши понятием, силлогизировал местности; в фокусе самосознания переместился доклад пяти чувств, сложась в орган, явившийся для равновесия чувства высот (в ухе—щелкало); воспринималось летение наше в долине, как бы в опрокинутом виде; стоявшее воспринималось стоящим на небе; вполне можно было б не видеть сквозящих гигантов, оставшись при чувстве высот, потому что рассказывал—пульс; и—раскрашивало окисление крови озонами; быстрь вертокругов! Табидзе мадам замигренила; каждый смигренить бы мог.

Кроме того, оставался для глаза разгляд: освещение; каждый предмет выявлялся иначе; зазыбилася странно неверная светлая дымка (она придавала прозрачность всему); облака стали миром кисей, из которых просунулись пятнами розовосерые массы, свисавшие с неба: массивы вполне без подножий; в подножиях—голубоватые воздуха и сизосиние мути вечерние; а между тем—стоял день еще; солнцем желтые зелени лбин, подаваемых в свете, изрезались черною, четкою тенью, теснясь в разрежениях, перемещениях неба, черневшего сквозь синеву; бездна мира склонилась ниже, чем следует, подухватясь

за десятки гигантов руками: над нами почти; к горизонту цвет неба жиднел в фосфорических ясностях; в ясностях, наискось выступила белосерая лбина, раздавом всего, что ни есть; ее бледная мощь потрясала; надвесься, она отступила; и стала—ничем. Запахнул ее воздух.

Все перемешалось тишайше; и мы утопали в себе; или лучше сказать—из себя; может быть,—и кричали (не слышал); полуослепленный, летя среди пространства шестого, вышинного чувства: и вне, и внутри—не имело значения.

Так уносились мы верст восемнадцать вдоль правого берега Белой Арагвы, взлетая к полуторам тысяч метров; про эти страннейшие местности в путеводителе сказано, что пейзаж их „живой, привлекательный“; местность у Млет „удивительно радостна“.

Все?

Хорошо еще—„радостна“; в укорочении чувств сказать можно, что „местность, как местность“. То скажет пигмей восприятий: отколет кусочек породы, пронюхает, произнесет: „Отложения Нижней Юры“.

Это—правильно; ясно и прсто: „Юра, живописно“...

А я-то? Спец слов, а—потее, ища выражений: обламываю лексиконы газетного слова, вздыхаю о Дале, что нет под рукою его; и потом докалечиваю перечерками фразу; тут нужны слова, о которых кричит Маяковский:

Начнешь это

слово

в строчку всовывать,

а оно не лезет—

нажал и сломал.

.....

Млеты скучились тесно у склона горы; они будто сбежались, как стадо баранов, испуганных грозным

ставаньем гигантов над ними: и домики темные, и—церк-
ушка; безумно красивое место; но жить не хотел бы я
здесь; перед Млетами—струи Арагвы; за Млетами—мост;
далее путь наш оборван: отвес голокаменный; а под
ногами—кипение пенное; мост прибежал к каменистому
пиру, отрезавшему половину небесного купола; что на-
верху—невозможно предвидеть; нам, вышедшим, чтобы
размяться, показывали вертикалями рук, образующими
прямой угол с висящими над пенной бездною горизон-
талью дороги:

— Теперь, мы—туда!

— Нет?

— Куда же еще?

— Таки—в небо?

— Да,—если хотите.

И—стало задумчиво: с этого пункта—взлетанье в
район облаков и в заоблачный мир; оголтелый гигант,
приодевшийся в зыбь освещений, которому я удивился
до тайного вскрика души, должен был приподнять точно
черную муху, машину с шофером, с семнадцатичленным
проценьем людских организмов, чтоб, перенеся через
лучи, поставить на темя себе; и потом мы покатымся—
по теменам того мира, который, коли смотреть снизу,
отрезан по грудь: неизвестностью; тоже—хорошенький
низ, приблизительно равный огромнейшему пятигорию,
равный,—ну да: приблизительно пяти Давидам, коли
смотреть у поднятия фюникулера наверх; этот низ—пре-
дочтеннейше выглядит; тут—пять Давидов: подножие
наше; а верх—убегал; к всем чертям! Путь вклинялся в
гигантское тело. Налево же встало такое чудовище, что
становилось не по себе: были видны ножищи; а там—
приблизительно, где у нас пуп,—начиналось роение, на-

поминающее—не туман или тучи, а—хаос темнот перво-
зданных, таящий сюрпризы: оо-ооо!

Огласить этот рост человечьим ревенем нельзя: много
сот киловатт, медногорлый громкоговоритель с отверствием
трубищи в домищу, пожалуй, взорет этим ростом.

Являлся на будущем уровне нашей дороги „хавос“
мировой, нападающий громом, чтоб перепрокинув, низ-
ринуть обратно: на Млеты; от этого места угрюмые тени
упали на мост, на Арагву, на нас, занимающихся под
такой космогонией и перед эдаким вверх улетаньем—
папиросокурением; странная вещь человек; все стояли
взволнованные ожидающим; делали ж вид, что—пустяк;
и отряхивали папиросы в клохтанье Арагвы.

— Что ж это?—указывал я на косматое чудище,
видное только до пупа.

— Там—Гуд-гора.

— А как курится?

— Сегодня свиреп Перевал.

— Ничего не увидим.

Так вот Гуд-гора. И припомнился Лермонтов, Максим
Максимович, буйволы, одолевавшие кручу—вот эту; и—
Гуд; и тогда он курился.

— Пять раз я там ехал—плечами пожал Катарадзе—
последний же раз—две недели назад; и всегда тоже
самое: горы—запахнуты; вот—полюбуйтесь!

Поздняя вписка: мы дня через три все глядели сюда,
в это место; и видели—то же: оно повторяло себя еже-
дневно, охлестывая дождепадом и ветром; всклокочатся в
ужасе волосы гор, закосматыт старик Перевал; и в до-
лину Казбека угрянет: кулак постучит по затылкам; миг-
нет огненосно; взревет, слезы выплечет; только под
утро—притихнет: до полдня; смеялись, глядя в переваль-
ную сторону.

— Приготавливает обед Перевал!

Он готовил и ужин; часам к четырем или к семи, пригонялось дождливое блюдо: к Казбеку; и градами с молнией закусывал старец.

— Не видывал вовсе хваленой картины хребта— продолжал Катарадзе— увидеть оттуда все то, что таят перспективы,—такая же редкость, как выиграть на лоттерейном билете.

— Какая погода была две недели назад?

— Две недели назад—лежал снег: замерзали и кутались.

Выкурены папиросы; прощаемся мы с коммунистами, сопровождавшими нас, взяв в машину к себе Леонидзе; они, прокатив, приблизительно сто двадцать верст вместе с нами,—помчатся обратно:

— Счастливо вернуться!

— Путь добрый: грозы избежать вам!

Прощаемся, машем руками, бросаем окурки, садимся: и—трогаемся туда, в эти хмури; в равнинах теперь белый день и сияние солнца; до вечера—долго; а мы уже—в сумерках; вечер под Млетами; над Пассанауром на дальних гигантах свершаются метаморфозы из солнечноотравных и солнечнокаменных пятен, стоящих под небом; те—зеленожелтые; розовые, белобрысые, бледнолиловые—эти.

— Ну—едем.

И—едем!

Нет, тащимся еле по великолепному взлету над каменным срывом; отвес—не отвес: ряд торжеств мясокрасных уступов, сходящих друг к другу с достойным триумфом; здесь взорвана розовотемная глыбина; там же—продолблена красная грудь занесенной скалы; ряд зигзагов слагается в ломанный путь к Гудауру; четырнадцать верст поднимаемся над тем же пунктом; четырнадцать

верст опускается он; и машина ползет с озадаченным фырком; и Млеты—уходят: не мы колесим, а туда и сюда тихоходные Млеты сжимают себя в преисподнюю, с пенной Арагвою, с пассанаурской дорогою; ни вертипижин, ни срывчика! Не от чего голове закружиться: воздушно торжественный пир; то гигант поднимающий нас—до колен, до бедра, до подгрудия—нас охраняет от кризисов вида, готовя к высокому; чувствуем, как уплывает, что жило до Млет: или—Пассанаур, Мцхет, Тифлис, Цихис-Дзири, Москва, сама жизнь: опустились события жизни отсюда под воздуха: мушкина жизнь моя; я—„мушкин сын“; нет, бывалое,—было ли? Будущее не свершится, пока не опустимся; в Пассанауре медведь таки драл меня; мне в содроганье предсмертном увиделись тихие вещи, которых коснуться... намеком... нельзя, потому что намеки растаяли, как передмлетские вещи...

Сначала все вскакивали:

— А где Млеты?

— Под ноги ушли.

Новый—вскок:

— Посмотрите: Арагва-то!

Видели, вставши,—из низа Арагву (верст—за пять)—полосочкою: показали едва бирюзовые мути из воздуха, скрывшие дали низов... может быть, до Тифлиса; а ближе лежащее, чтобы мы вынесли высь, отдавили уступы, которые одолевали мы и, наконец, одолели—почти; три-четыре зигзага, и мы, черной мошкой переползая по взлобью,—вползем к горным лысынам, врежемся в темень Гуда, расширенные надо всем: теменистая дымка, в которой погибло под ноги недавнее все—тени Гуда, которые столпотворением тучиц глядели с отвесов над Млетами: уж—охватили; все—сгасло.

То кралось—и вкрадчиво, и незаметно похитивши

душу, как великолепная смерть в тучевых небесах; вот еще—наблюдаю воздушное озеро в голубоватом расшире с под ним еле видной Арагвою,—но... как не вижу (не надо: что вид?); вот еще... измеряю отвес мясокрасный: а он—предпоследний; с последнего слезет машина—навстречу нам; вижу, как выскочил к нам из нее контролер: проверять документы; увидев значек на Яшвили,—рукой умеряет:

— Писатели?

— От профсоюза машина.

— Не надо, товарищ: спешите скорее вы: на Перевале—сгущается: вымочит.

— Ну?

— Добрый путь.

Как смутнейшие воспоминания, лишь в подсознании живущие—эти обрывки всплывают как бы перед ухом: не в ухе; то было... до мига, когда мы, докуривая папироски на млетском мосту, удивлялись, куда мы взлетим: того не было—выше; то ассоциация мусора воспоминаний.

Взлетели.

Куда же?

В—ничто.

Нет—ни скал, ни под'емов, ни—скатов, ни—ширей протянутых под земо-млетскими спусками, ни—Кайшаурской долины; серейшая дымь, из которой убого торчащий огрызок травы, сыри, грязи, пронзительный крик из-за камня танцующих с визгом, бросающих цветиком в нас осетинских ребят, из ничто возникающих, чтобы в ничто обернуться.

И—все?

Все!

— Как скучно!..

— Убого...

— Завешено.

— К тучам приехали.

— Горы сбежали.

Вопим негодующе.

В этом „ничто“—дано „все“.

— Ах, оставьте: из „Фауста“—слышу читателя; но возразить не могу, потому что описывать нечего; кладу заплату цитат на места с Гудаура до Коби.

— Как нечего — спорит читатель мой — в путеводителе сказано: тут и описывать.

.
Все, что являлось, являлось у носа пройтись, чтобы сгаснуть; в пятидесяти саженьях расстояние было еще; а затем—вперед, позади, по бокам,—его не было вовсе; и были: хилевшие травки да лужи вчера здесь лежавшего снега; серевшие снежные пятна являлись по близости; все — продолженье; конец и начало—ничто, куда всходы манили; и сходы откуда-то—скидывали; на пятне зеленовшем коротенького кругозора, диаметром в сто саженьей, из-за мглы серогрифельной явленном, пусто бежала бессвязица; в центре пятна тарахтела машина бездвижная вместе с пятном; в ней сидели бессмысленно—мы, наши дамы (с мигренями) прямо на лысине нас уволокшего в небо гиганта; плакат с перетертыми знаками горного лозунга, нам развернулся вселенной пустейшею: серью, недвижно стоящей, прележкой и очень сухою на вкус; и на ней, как на фильме, придрогом кривились контуры диких исчадий тумана, под'емлющих писк; трах—подвыскочил осетинёнок; трах: нет его; быстрый намек высоты, здесь укрытой, появится из разряжений; стяжения сизые, вишущие перед скатом, поднимутся; и—неотчетливо.

Все темена Голиафов, катившие нашу машинку над главным хребтом (здесь—„Кавказ подо мною“...) тверди-

лись компактной массой дороги, в которую Гуд сверг своей ужас:

— В шестой раз я еду,—в сердцах говорил Ката-
радзе,—не видя хребта.

Я бы мог отвечать сумасшедшею репликой:

— Вижу очами ушей, иль—шестым своим чувством,
заложеным под лабиринтом: дугой полукружных кана-
лов¹⁾.

Переживания стали в душе перспективою скрытых
высот, по которым машиночка переползала к тычку Пе-
ревала Крестового, равного восьми тифлисским „Дави-
дам“, стоящим подножиями друг у друга на темени.

Надо, где нужно увидеть; и надо, где нужно, не видеть;
врастание в две с половиною тысячи метров ломает
весьма, извлекая неслышные звуки оттуда, где им не по-
ложено быть; очень глупо Бетховена перелгать в пла-
тяные узоры; глупее—его комментировать; так вот со-
мною: не видя картин, утешаю себя, что картины плаката-
ми были бы, перевлекающими от ушей (полукружных
каналов) к глазам; а глаза не нужны: я их скинул; они,—
как очки.

Там—градации снежных цепей: просребрел мимолетно
кусочек снеговища,—просто не знаю откуда.

— Семь братьев!

— Гора?

— Группа гор.

Из семи этих братьев—пол брата стояло: неясно;
ушло,—потому что гласили над этим путем агитаторы
местности,—партия старого Гуда:

— Увидеть глазами невидимо вас посетившее чув-
ство высот—невозможно никак.

1) Остеологические термины.

Гудаур!

Кучка домиков жалась на всход—малотравный, бес-
травный, кидающий в бледнь разряженья тумана висящего,
где прорезались едва головерхие гребни небесных пород:
удивительным очерком.

— „Палеозойские сланцы“—бессмысленно вспомнилось.

Вспомнилось, что этот скат обрывается в пропасть;
шестьсот сорок метров ее глубина (два Давида); за нею—
подножие оледенений—в четыре уж тысячи метров почти:
Хоризав, Есиком; и—другие вершины (невидимые); вместо
них—что-то странно висящее в воздухе, явно безгла-
вое, главу укрывшее в мутень,— без ног, темновесно раз-
дряпанных: в мутени.

Слева начало облома всего, что ни есть; тут пути,
нас носившие и перенесшие, вдруг обломились; тот слом,
говорят,—прдясняем (не верю): красой Койшаурской до-
лины, которой мне—нет; даже слома—нет; только—на-
чало его; продолжение—воображенье; бинокль—полукруж-
ный канал.

В ухе—щелкает громко.

— Баран!

— Посмотрите!

— Куда залезает?

Баран—залезающий за́-небо (небом зовем мы вуальку,
скрывающую Коминтерн Мировой), к здесь бормочущей
интерпланетной турбине, вращающей оси,—дурак; заби-
раться—опасно: стоят сторожа; еще в небо пускают ба-
рана; а за́-небо—нет (в полосе разряжения „неба“ по-
висли); барану опасно: лавины грохочут по этим местам.

Подобравшись, осиливаем перевальный участок.

Завалы и справа, и слева бьют путь; вот—упад, пе-
ретенутый дымкою, малопонятные контуры стражей с

дарами... лавин: на невидных горах; не слетит ли из серости белоголовый гигант: уничтожить всю местность? Кругом сумасшедший пролет упавших камней, задержавшись на скате, повис знак немой катастрофы тут бывшей; и—горное пастбище, или „чертова“ долина; но „чорта“—не видели, а чертенята, бесившиеся из тумана,—исчезли.

Безлюдие, необитаемость, жуть.

Кто-то, белецкий, встал в стороне, точно странник, сошедший с пути; посидеть под лавиною; нет, это — житель, встречающий путников.

— Что?

— Где!

— Там.

— Крест.

— Перевала?

— Вот именно.

Мы—в Перевале!

Крест ставлен Давидом, грузинским царем,—заявляет легенда; Ермолов его подновил; почему-то припомнилась надпись над Чертовым Мостом в Швейцарии (у Гешенена); но—разница; гордость гранитов, и —тихость, разверт перспектив, из которых хребет возникает.

Там—муть серогрифельная.

.....

Перед Коби дорога спускается, пересекая завальную местность; лишь крути,—с которых бьет белый, рокошущий ком; бьет и справа и слева: в иных перешейках пути; и—построены: тут—перекат защищающий; там—продолжение в скалах; дорога, испуганная, занервнела зигзагом, как змейка под палкой, в тумане висящей; все это мельтешит в глазах и пугающим и восхищающим

очерком; но—ни на что не похожим; порядок в сознание
растрясся: что раньше, что позже?

Я вынужден смазать...

Путь мне проясняем у Коби: в сквозном обнаженье
всего; вероятно нельзя видеть выше положенной зоны; у
нас—завязались глаза; был я вынужден слушать рассказы
о том, чего нет; пальцы тыкались в муть: то да се!

А когда опустились под ноги себе, увидели какие-то
части не видные сверху; поехали—в ночь; не доехав,
увидели утро: раздымки серебряные, а --не серь; в про
сквозившем сиял бледный очерк масс розовых, нежно
белеющих дымью; земля, вставши в небо, в серебряном
воздухе зыбилась, не прикасаясь к земле. Из груди точно
штопором, вырвалось:

— Да посмотрите же!

Нет—ничего.

Серебреет, и светится; и обнажается в нас упдающий
и нежнорозовый, перетрясенный всем воздухом, сдерг и
разлет устремившихся глыб; в разряжениях—голубизна,
к нам летящая; и—без единого облачка; справа и слева,
ее обрамляя, уставились мощные массы, слагая проход.

И—мелькнуло:

— Конечно: к скале приковали они Прометея.

Он прыгал из неба на ком нежнорозовый; прыгал из
неба за ним обругавшийся Зевс, угрожая трезубцем,—на
ком нежнорозовый; и—Прометея схватили: в щелье двух
скал; потащили приковывать.

Мы под отвесами розовых скал, обернулись, задрали
носы: любоваться, как солнцем охваченные, изливались
градацией пурпурных и перламутровых блесков — две
массы; меж ними, в оставленном мареве,—все почернело:

— Ну—вот.

— Выезжаем из тучи.

— Смотрите!

— Светлеет!

И—вылетели на ландшафты: блистание золотом всех перетрясов и головокругов; вид местности—пляска гигантов, в парчи облеченных; с Тифлиса до этого места—нет встряса; есть медленное вылезание: из-за высокого—высшего; ряд репетиций под'емных: под'ем, подбираясь к под'ему,—под'емищем стал незаметно; и только за Млентами—круть; но и здесь—нет подскока.

А за Перевалом—обрыв; впечатление—спрыга внезапного; переменянье одежды: походной—в парадную; те, кто стояли в зеленых и серозеленых хитонах, развеянных мягкими складками, сбросив хитоны, стоят голотелые, красные мускулы пружа; сюда Прометей перекинуть сумел унесенный огонь; огонь—вспыхнул, разнесся: пожарилась местность.

Отбросились палеозойские сланцы, чтоб лавой Казбека пылать, а Арагва осталась—за спинами; области Терека вскрылись; увидим его, как водою пилящею, точно скрежещущим ножиком, режет он почвы.

Уж Коби наехало ярким подножьем порфиристых скал; и ущелье подпалзывало; из него осетин начинает выглядывать дерзко, тесня отступающую, защищающую свои местности Грузию; Грузия тихо скорбит за плечами, уткнувши лицо в плащ туманов; а солнце от запада—бьет; и пылают порфиры.

Тут—встрясы народностей, почвы, пород первородных, вод, климатов, бытов.

Из необитаемых высей слетаем в обитель людей, но—иных.

Горы, точно шатаются: красные, пестрые, бронзовые, рассыпаясь осколками чернозлатистых пирритов; песчаники, лёссы,—исчезли; высоты—кривые: соборы, драконы

и башни, охватывая, начинают кричать благим матом; стеновая—красны и розовы; в далях ущелий, не горы, а Пери какие-то; классика линий, которою мы чаровались у Мухета,—исчезла бесследно; не Пушкин в природе; господствуют: Лермонтов, Врубель; отсюда до самого Владикавказа пошел стиль готический; легкий зигзаг, стилизованный, переменялся на кривоизогнутую линию с нагромождением фигур, барельефов резьбы, мозаических ликов, цветных инкрустаций: в перпендикулярах стены.

Где резец? Колориты; все—краскопись в светописях атмосферы; нет описи, контурировки: раствор колоритов пород в колоритах небесности; монофонический голос, пропевший холмами,—иссяк; все наполнилось полифоническим гулом: хребты, как десятки органов, звучат удивительно: пересечением Баха и Скрябина; светлая зыбка, которая с Пассанаура прошла солнечной по высям, проелась в материю почв, распадаясь на палитру красок: от красного до фиолетового; что светило культурой небесных оттенков, то стало культурой тяжелых пород; точно свет, воплотясь, утвердился—в виссоны брони, барельефы, в тяжелые иконостасы каких-то старинных соборов, создавших безумные культы.

От Коби к Казбеку—система долин, из которых и вправо и влево—ущелья,—система являет парадные залы огромного здания, купол которого—небо, а стены—хребты; все—приубраны к праздничной встрече: рассчитано, чтобы гостей поразить неожиданным выходом из боковых помещений—Казбека, Громадного Старца. От Владикавказа до Коби—хозяин Казбек; забываете вы о природе; она превратилась в культуру—дворца мирового; быть может, старик незаметный, крестом Перевала прикинувшийся, был—Казбеком; инкогнито он наблюдал наш проезд (кто, зачем), чтобы перенесся, нас сразить, распахнув

неожиданно горы и встав из пролома—огромным, прославленным, розовобелым, алмазным.

Казбек вас поймает тотчас за Тифлисом, в прозрачные дни, приподняв над горами громадный свой конус; и спрячется; с Владикавказа поехали вы,—тот же самый Казбек, приподнявшись,—ловит; и прячется, чтоб приготовить прием у себя; он оглядывает двести верст.

Он и есть атмосфера пути: чем взволнуетесь—то результат агитации партии этого старца; он—лидер огромного столпотворения гор; он с толпой агитаторов, точно уходит в подполье; от Млет до Тифлиса стоят агитаторы горного дела, в хитонах зеленых, с закрытыми лицами; с Коби снимаются маски, хитоны зеленые; митинг вершин, обряд лозунгов—в залах Казбека.

Тогда—на трибуну выходит... Казбек: его речь—раздается от Коби... до Ларса.

Долина Казбека—партер: перед кафедрой.

Вот и селенье Сиони с причудливо странной горою Сиони; отвесные скалы; и — Терек (мы едем в долине его); встали в блеск разодетые горы (Куру, Элия), вот зажатое Хевским ущельем шоссе—расширяется; мост через речку,—и быстро несемся навстречу поселку Казбек по широкой, зеленой, какой-то атласной долине, обставленной гигантами; хлещет разбойничий ветер; лукаво веселое, синее небо; и смех его—ветер; и мы,—точно пьяные, наша машина, как с цепи сорвавшийся пес: припустилась по склону—летит, и летит; пыли за спину всфыркивают. И кричит мне Яшвили; не слышу я слова веселого.

— Хэбэкэ... Тэбэкэ... Рэбэкэ... — дактилем, притким слетают грузинские рифмы.

Навстречу несется громадою граней железный и снегом увенченный Шат; поселение робко к нему прижимается.

Вылетели; разорвался проломом хребет; из разрыва, имея зеленую гору трибуной, поставивши перед собой колокольчик на ней, или „монастырек“,—в трети неба закинутый, неописуемо розовобелый, сребристыми гранями, голубоватыми фирнами, белую руку на края уронивши, в алмазном венце,—белобрадый, задумчивый, вещей гигантище: речь держит местностям.

Это—Казбек.

За главою его просияние: предзаревое.

Машина подскакивает к помещению белому, где ресторан, где гостиница—база „Закавтопромторга“ (не говоришь: может быть,—я напутал; ломается речь человека об эти „сокровища“ языковые); мы выскочили; я стоял, рот разинув на Шат; его снежные ребра, подъятые к солнцу,—сияли; Казбек—не сиял, углубляясь стением.

Броды, разброды!

Хороший поселочек; лавочки, ряд небольших, но приличных гостиниц, открытки, фотографа будочка, улочки, стильная церковка; здесь комфортабельно можно зажить; знай мы—ранее!

Наши друзья повели меня к церкви; грузинский писатель с фамилией местности этой, Казбек, за оградой сквозной похоронен; вот—крест над могилою:

— Бытописатель кавказской войны; в его книгах эпоха Шамиля встает.

— Здесь жил он.

— Помещиком был.

Леонидзе, Табидзе, Яшвили вполне занялись, свои спины подставили Тереку, громко струнящему в срыве: под самым поселком; я—шел вдоль обрыва, бросая почти-тительный взгляд на лицо сребролобого старца; отчетливо бросил он руку на ниже лежащие горы, взнесясь головою

в фон неба, и там запрокинув ее: всюду голубоватости фирнов и льдов среди беления снежного; и розоватые голые части перпендикулярных отвесов; из розовых, голубоватых и белых отливов слагалось отчетливое Мировое Лицо с выражением грусти и строгости мудрой, глядящее наискось; нос и провалы глазные, седины, сам конус белеющей шапки—отчетливы.

Вот, вероятно, ледник: опускается к нам; их—одиннадцать, кажется.

Я повернулся на зовы гудка; пустовала машина: мой друг в ней сидел, корчась дикой мигренью (от слишком поспешного взлета и слета); с ним рядом—мадам Ингароква, страдавшая; все ж собрались, потому что шофер иступленно мял десять минут гуттаперчу пищащую.

— Едем Дарьяльским ущельем!

И—мы полетели, зигзаги описывая,—через Терек; на встречу неслись—стены, скалы, обрывы, зигзаги, отдельные камни; дорога, прижатая к скалам, описывала пируэты крупнейшие над мощью срыва; а в нем—кипел Терек.

Мой друг сквозь мигрень удивлялся:

— Смотрите-ка: это не стены, а мир барельефов, с излишнею роскошью прибранных: хоть одну сотую этих богатств разглядеть!

Вылезали—стремительно, ежесекундно—все новые роскоши: перли и перли, раздавливая окончательно: здесь километры изваяны переплетеньем фигур; справа, слева—затиснули нас; закачали зигзагами, вид отрезая и сзади и спереди; все предстояло в малиновокрасных тонах; точно тучи крылатых существ, оборвавши падение, окаменевши, застыли в перпендикулярах гранитных; музей барельефов, где каждый ущельный изгиб—зала редкостей; мимо всего—проносились стрелою.

Годами сидеть тут, а мы...

— Где же мрачность?

— Все—роскоши!

Терек—не дикий: струнил мелодично:

— Вот—замок Тамары.

Но мы не успели его рассмотреть: пронеслись; он—бальная куча развалин; все, что обстает, раздавило его; и по моему: сторожевая, квадратная башня селений, которая нам примелькалась от Коби,—любая, прекраснее этого замка; он должен сидеть над отвесом; а он—под отвесами.

Лики и крылья, его обступившие мощью отвесов, являли отсюда сплошной гобелен: два ряда гобеленов о много сот футов; мы с Терекком,—сжатые ими; и ряд изощренных, окрашенных в пурпур, зигзагов, которыми стены вонзаются в поголубевшее небо.

Теплело заметно; слетели ведь на полторы почти тысячи метров (слетанье стремительно здесь).

Вылетаем в последний зигзаг; вот и мост через Терек; стена серо-розово-зеленоватая, цапкими зубьями, точно когтями, каймит верх уступов, отрезывая от того, что мы только что видели.

Ах,—до чего это нежно!

— Борис Николаич, — граница: проститесь с Грузией—кто-то мне крикнул.

— Прощай!

— За границей—пошучивают добродушно грузины. И—станция Ларс.

Тут выравнивается, как скатерть, дорога; машина—стрелой понеслась в туче белой, вздымаемой пыли; спадающий сумрак рельефы утаивал; да и не надо рельефов; наш глаз просит ночи; я перевернулся и видел: белела

гребенка снегов над тесниной Дарьяла; прощально глядела нам вслед.

Огоньки хуторов и домов среди прекрасной, густеющей, сочной, включенной зелени.

Балта.

И ночь, и жара—охватили; наметились в сумраке: цепь безобидных холмов и огни разостлавшейся дали степной, от которой давно отучились; Владикавказ надвигался: за домиком—домик; огни ресторанчиков, с праздничной публикой (русской теперь); слобода, многолюдие, пыль несусветная, улочки, много огней, магазины, машины, „Закавтопромторг“ (уф,—едва написал); перед ним на минуту мы встали:

— Где нам приготовлено?

— Что? От Союза Писателей? По телеграфу?

— Да, да.

— Гранд-Отель.

И он—вот.

Мы гурьбою ввалились,—усталые, пыльные, но разве-селые; и поскорей распростившись до утра, пошли в свои комнаты; моя—малюсенькая, но приличная; комната друга—и чище; и больше.¶

Сюда нам внесли самовар.

И не верилось, сидя за чаем, что мы отвалили верст двести—таких двести верст, где не раз восклицалось:

— Мгновение,—остановись: ты—прекрасно!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

КАЗБЕК.

Владикавказ. 4 июля.

Я вскочил, как из ванны нарзанной, взбодренный вчерашней поездкой; мой друг, как и я—загорел и окреп: в одну ночь; мы решили скорей найти спутников; день ведь последний мы вместе; где все? Испарились; случались бесплодно под этую дверью: и—той; позастражили же в комнате у Ингарокв, оказавшихся дома; случайный визит превратился в приятное пересидение. Тут появился Яшвили, отчетливый и озабоченный: вечер грузинских писателей в Владикавказе—отложен; и—едут обратно: чрез три иль четыре часа появились: Табидзе и Гафриндашвили; уславливались: впечатленья о Грузии я запишу; и—пришлю: поместят-де в грузинском журнале¹); сердечнейше звали в Тифлис; соблазнительно: лето прожить под Тифлисом; и мне обещали: содействовать с дачей манили—поездкой по разным местам.

Подошел Леонидзе; сходились и прочие, все повалили гурьбою: пить кофе; а мы, отделясь, завернули в кривой закоулочек; стали: над Терекком; с берега Терека—вид на хребет, на Дых-Тау, на Казбек; из бурьянов и грубых

¹) Я извиняюсь перед писателями, которым дал обещание: закрепить свои впечатления; дела—не позволили; и—впечатленья остались: сырьем дневниковым.

каменьев вполне задичавшего берега над серой пеной стояли; у Терека—черные воды; он—злой; берега заграждают плетни; между ними—каменья; не то страшный Терек, от'ев берега, отгрызет все домченки прибрежные, пьяным гулякой ворвется, и—пустится бегать по улочкам Владикавказа; коли оборвется Казбекский ледник (Девдорахский), то—быть наводнению.

От Терека—над забережною частью стоит панорама: Кавказский хребет приступил к слободе; ряды ярусов гор, друг над другом стоящих отчетливо; очень зеленый, „Лесистый“ хребет поднимается тотчас; над ним возвышаются скалы второго хребта, или—„Пастбищного“; меловой известняк, исцербленный причудливо, лепит в лазури фронтоны свои: гора Лысая; и за ней—Фехтус (две тысячи метров); вдали уж „Скалистый“ хребет; надо всем—снегобелые глыбы хребта Бокового: привстали мирами; за конусом—конус; коли повернуться направо,—то весь горизонт перерезан бледнеющими отделенными конусами; вот—Дых-Тау, Казбек; а потом различаешь едва мало внятные образования: от бледных—к бледнейшим; не белые тучи, а горы, весьма удаленные; нагромождение цепей друг над другом—стремительно; ясны ворота меж очень морщинистых, голоотвесных горбинищ: Столовой горы и другой (я не знаю названья); из Владикавказа—Кавказ: камнем в лоб тебя бьет; до ворот—местность ровная; за—голопрыги, отвесы; ты чувствуешь ясно, что там из России ты выхвачен.

С берега Терека—видишь: хребет подступил к путешественнику—с ультиматумом: переменить ориентацию жизни; с Москвы и до Владикавказа совсем нет скачков; изменяется все: постепенно; за Владикавказом верстах в девяти,—ультиматум: „Забудь все знакомое, переменись; ты—отрезан: взят в плен“.

Впечатления эти возникли над хрипами Терека, среди камней и бурьянов... почти закоулка; громадный Хребет—прибежал, неизвестно откуда; висит над степями Европы, как невероятная Азия; чувствуешь, что—ты у грани не стран: частей света; Европа, Европа, Европа; вдруг—Азия: с дверью, отворенной настез: из этих ворот выходили к нам в тысячелетиях времени—орды; врата—в колыбели культур.

Бросишь взгляд туда,—вздрог: то, в чем жили все месяцы (пламень Колхиды, Тифлис)—отвалилось; три месяца жизни повисли на этих хребтах; утром чувствовали, что Москва подступила—не тем, что к ней едем, а тем, что глядим—из равнины; вчерашняя жизнь,—снизу вверх созерцается; грусть: уезжаем, а горы—так тянут.

Из Владикавказа Кавказ обольщает, об'ятя хребтов простирая коварно, взвив образы невероятные; вот он, а—ну-ка: его ухвати!

— Мало гор мне—неволью я буркнул.

— И—мне—шопот друга услышал.

Мелькнула внезапная мысль (та же самая); каждый—ее затаил от другого.

Вернуться... к Казбеку.

Вот он надо всем привстает в ослепительно яркое утро; все грани его обозначились—с невероятною четкостью, вовсе по новому; он заслонял собой солнце вчера; солнце высветило его—нынче: какой-то весь.. сахарный.

Рядом Дых-Тау поднимался; размеры Казбека превысил он; но расстоянье его умаляло; казался он ниже.

Едва оторвались:

— Пора.

— Заждались.

К удивленью Яшвили, смеясь, п едложил:

— Вы жалели вчера, что наш путь мимолетен; поедьте вместе; мы вас подвезем до Казбека; там—переночуете. А?

— Да неловко.

— Э, полноте: право, Борис Николаевич, кабы—нельзя, мы б—сказали; машина же в распоряжении нашем, до этого вечера. Как?

— Решено?—поглядел я на друга.

— Ну—что ж.

— Приготовьтесь: часа через два—уезжаем.

Заветное—осуществилось.

Спешим, и укладываемся.

Готовы.

Но—нет никого.

Наконец—выясняется: кто-то в контору из наших друзей заявил еще с вечера: два пустых места имеются; в „Базе“ места—раскупили.

— Ах, стыдно, Борис Николаевич, мы—подвели.

— Рационально поступлено; время—горячее; ищут машин; толпы валят чрез Владикавказ.

Уезжают; толпимся у входа, прощаясь; автомобиль переполнен; взлетели все руки; рванулись,—поехали:

— Стой!

Леонидзе выскакивает, его—кличут:

— Уедем: оставим тебя одного.

Леонидзе—ко мне:

— А ответ на привет из Душета?

— Ах!

Наспех маракую; а из машины—уже настоящие вопли:

— Мы едем.

И вот Леонидзе в пылях улепetyивает... за машиною: смех, взлеты рук.

Улетели.

Окончилась эта недельная жизнь; мы глядели им вслед с благодарностью; а Цихис-Дзири — когда это было? Три года назад. Цихис-Дзири Сурам отрезает; минуешь тоннель — Цихис-Дзири исчезло; Тифлис же отрезал проход близ Столовой горы; до — Осетия; после — Москва.

Пообедав, поспав, забродили по маленькому, суетливому городу; он — неказист, а — уютен; препылен; но пыль — не томит, потому что густейшая зелень отовсюду теснит эти улочки с одноэтажными домиками; Терек яро несется сквозь город, с прохладой и криком; зеленый, со вкусом разброшенный парк, с озерцами, чинарами, тополем пирамидальным тенит и прохладит.

Решили вдруг мы, увидавши Казбек, что... поедem; зашли в отделение „союза шоферов“; условились: ровно в четыре утра — легковая машина заедет за нами.

— Казбек притянул-таки — друг улыбался.

Вернулись в парк: над всклокоченным Терекom долго глядели на невыразимые тени Столовой горы и другой; странным комом сложившейся.

— Эта гора — голова великанская: вся; вы глядите — глаза, нос и губы...

Морщины, глазницы, стечение каменноликого кома глядели серьезно: в закат; ком — зарделся, как в огневе; пурпуровым стал; обозначились красные выгибы; и углубленнее стали все тени:

— Запомним: отсюда нас горы позвали.

Щербины морщинистые и глаза головы краснокаменной уже не видели в быстром сгасании выгибов: пересегав, засинели, сплываясь в нахмур темноты.

Еще долго сидели, вернувшись домой; из окна дуновенье степное прохладило ласково.

Владикавказ. 5 июля.

Ночь: три часа; на ногах; собираемся: скоро четыре; уселись с терпением; автомобиля же—нет; потеплело; мы вышли сидеть на бульвар (пред гостиницей); солнце.

— Восход—пропустили.

Пошел я в контору:

— Ну, как?

— Забирает бензин.

Я—вернулся: прошло полчаса; я—в контору опять:

— Обманули.

— Сломалась: чинят.

Вернулся и лег досыпать: шесть часов.

Появилась машина.

Предместье закутало белой мукою: густейшая пыль; бледнобелые вырезы почв привалились; ваятель выстукивал те благородные линии; белый Казбекский клубок, приседал, укрываясь; хребтами лежащими ниже; подножия белой Столовой горы прищемляли проходы; под'ем средь разломлин и средь тарарахов растресканных скатов; под полутоннелем проехали (скалы висят над дорогою); вовсе не страшное место зовут: „Пронеси“. Забегая вперед, я скажу: есть у входа в долину Казбека на вид безобидное место; с пологими склонами, павшими ниц; а на склонах—огромные камни застряли; не скажут, что камни—срываются и что опасность—всегда нависает; единственный пункт, где действительно надо сказать: „Пронеси“, никому неизвестен; иначе—боялись бы; декоративное же „Пронеси“—безопасно; готов я под ним ночевать; здесь течение пластов параллельными складками нарисовало работу размыва; пласты бегут к пунктам, откуда—стремительный сброс; местность—нервная: вздоги земель—в одну сторону; их струевое течение—в другую; история дна

стародавнего моря написана ярко на скалах; дорога—долиною Терека мимо развалин редута, когда-то построенного, мимо Фехтуса, Балты, под диким „Скалистым“ хребтом.

Море странно гребенчатых, странно неслитых вершин, презеленых, но буйственных, столпотворением бросилось на Дагестан; над вершинами стаивают серобелые пятна; и выше—гребенка гор снежных: налево; тот вид открывается между зеленою, узкой долиной, впадающей в нашу дорогу и четко делящей хребет Боковой от Скалистого.

Это—долина Армехи; и с юга, и с севера очень большие хребты преграждают поток облаков; перед Балтою, или в Дарьяльском ущелье—дожди; в это время—здесь солнце.

Дорога—сужается; сторожевая, старинная башня, селение „Ларс“; и за ним набегают гиганты, чтоб справа и слева затиснуть; лег ком, сверху свергнутый, или „Ермоловский Камень“, проползший с Казбека: со снегом и льдом.

Известняк—за плечами; и—области сланцев у станции Ларс.

Дальше—вылезли толщи гранитов с рассказом о древней эпохе земли; где тут мрачность?

Под’ем—закрутел; дно реки—опускается; черною клохчет водою; подвалы, надвалы груд каменных, их вознесение; все рассмеялось светлейшим подбором окрасок: цвета—белый, серый, зеленый и серозеленый и синезеленый; серы эти камни (а третьего дня—розовели); вполне синеватые вкрапины сосен, приставшие в сине, штрихуют легко, точно кружево, скалы.

С Граничного моста до Чортого—монументальный участок ущелья; „как и е-то“, невероятных размеров,—спаялись в шпалеры утесов, ломающих все коридоры

пути: на зигзаги; в лазури врезается это сращенье зубцов — над головокружительной пропастью; мы — на дне пропасти; точно вцепилось в небо зубами нутро земляное; явилось впервые ущелье в тонах красноватых пред нами; теперь оно — выbleднилось: серобелым подбором камней и серожелтеющим мохом; и вот — зарозел этот верх; подкарабкаться снизу к нему невозможно: перпендикуляры работали, стесывая даже самый намек на под'ем.

В белом свете ущелье еще изощреннее выглядит; вечером — смазаны линии; днем барельефная группа виднее; их — тысячи; ведь шириной в восемь верст плоскость стен; с километр — вышиною.

— Порталы готические!

А за замком Тамары распались направо теснины гранита; под'емы и вздерги ущелья под самый Казбек; он свисает массивами льда: то — ледник Девдорахский; ущелье Кабахи — одна из экскурсий с поселка Казбек; эти массы порой нарастают, порой отступают; для Владикавказа — угроза оттуда; слетают завалы сюда; завал 1776 года закупорил Терек; завал 1832 года — закупорил так, что дотаяли льды через семь только лет; лед взрывали искусственно; мост через Терек, — Гвилетский; отсюда — дорога крутеет: под'емом под скалами; Терек — свргается: между дорогой и Тереком — пропасть; дорога змеится; утесы — врываясь, рвут; над путем надвисают гиганты; опять — „Пронеси“; но ущелье — растаскивается; ширеют под'емы; последний загиб.

Пролетаем в долину плато.

В небольшой, но уютной гостинице, чуть не последней в поселке, мы перекусили; хозяин, грузин добродушный, но строго почтенный, Топадзе, понравился нам; Экскурсионная База в гостинице этой; есть комнаты; их осмотрев, порешили: сюда переехать на несколько дней; из

окошек — дорога; и тысячереберный Шат; в окна базы, с другой стороны — сам Казбек; выход — прямо к отвесу над Тереком.

Лучшее место поселка.

Пошли по обрывине, и, отдаясь от поселка, уселись на гряде камней, недалеко от церкви.

Казбек!

Красота — красотой: не она, а — явление смыслов, градация их, в гамме граней земли, потому что Казбек есть гигантский ритмический жест, данный в паузе неба и воздуха, не говорящих открыто; стоит тишина глубины; в ее горние недра слепительным вспрыгом ряд ясных зигзагов взлетел, пересекаясь в целое.

Целое — конус Казбека, являющий не равновесие косной земли, а разверт силовой.

Дышет точно гармонией сил; не ландшафт, а система космических мыслей, изложенных в мощном томине и схемою брошенных в лоб на заглавном листе; том не прочитан; прочтение — жизнь человека, присевшего около; лишь по эпиграфу знаешь, что мудрость течет из раскрытых страниц; так рабочий, перед „Капиталом“, который ему подарили, — стоит, сознавая, что чтение — жизнь трудовая; все то испытывал я, сев на камни и глазом вживаясь в силушу линий, сбежавшихся в снежную голову и в переигры синеющих пятен средь белого бархата на розоватом атласе, которым прикинулись грани бесснежных отвесов Казбека; все то — материал к пониманию; целое всех впечатлений глазных еще скрыто: сложенье — культура особого рода: умение увидеть — картину в картине; бывают такие картинки: ландшафт; снизу — подпись: „Где Ибсен?“ Не видишь; вдруг видишь отчетливо: лик!

Нам сидение перед Казбеком открыло глаза на.. закрытие, все еще глаз; и Казбек, нам показанный силой зигзагов, еще — покрывало, которое... сдернется.

Будем стараться.

— Паломники мы!

— А то — как же: жалею я тех, кто приехавши, так себе, — тычется, так себе, думая, что в сумме видов — видение; нет, количество видов — вредит; дело — в качестве; и в интенсивности зренья.

— Едем сюда, а не хочется больше экскурсий.

— И — мне.

— Я хочу осознать предстоящее: это вот — только.

— Достаточно: есть, что увидеть; еще — не видим отчетливо: ослеплены.

— Мы — увидим.

— Мы — будем пытаться взойти на Казбек пониманием, а не ногами.

В таких полумыслях, полувосклицаниях время забыли над Терекком; Терек — струнил; голубые цветочки небесного цвета свежели у ног; мы — сорвали:

— Как память — о нем.

И — повернулись к гостинице; там уж роились; толпа экскурсантов выстраивалась с предлиннейшими палками, — по-двое в ряд; раздалась команда: пошли.

— К ледникам?

— А то как же.

Казалось — молниеносно слетели: ущелье, Ларс, Балта, предместие, Владикавказ: „Гранд-Отэль“.

В половине двенадцатого, опустив жалюзи, пили чай; а на улице — жар входил в силу.

.....
До вечера уговорились со старым извозчиком: завтра

заедет за нами; на этот раз мы в фаэтоне поедem, взяв сумочки лишь: налегке.

В первый раз недоволен я Пушкиным, просто „hogribile dictu“: нет, можно ли так не видеть ущелья и так написать о Казбеке. Тут слов не нашлось у поэта, всегда находящего их; что Пушкин пишет про мрачность Дарьяла: не то.

Вероятно, что мрачным бывает ущелье; мы видели выставку ярких персидских ковров в километры размером, окрашенных красками „Раковины“, иль „Пророка“ — по Врубелю; вот — колориты; у Пушкина: „дико“, и „мрачно“ ущелье; и — „Терека вой“; не по-пушкински, а по... Марлинскому; Пушкин умел вынуть слово из линий ландшафта, а тут — аллегория дал.

Разызысканность тонких культур и махровая роскошь оттенков, — где это у Пушкина. „Дико“ — не так. Может, — очень болезненно: Терек — не воет: струнит мелодично; не мрачно; скорей подавляет — обилие блесков и светов, вполне не вмещаемых в воспринимающих органах: в глаза и в ухо.

Мне страшно признаться: любимый поэт — кое-как написал про Кавказ.

То же самое хочется высказать про „Монастырь на Казбеке“; прекрасное стихотворенье: Казбек — не при чем строчки — мимо Казбека. В стихах его нет.

Я ищу аналогий своим впечатлениям; и — нет аналогий.

Вдруг — Чехов встает; да, артист — подает аналогию: в том, что в нем — яркий ритмический жест, выявляющий новый рельеф, неожиданный, быстрый, революционный; и эти ландшафты — имеют способность: стать в жесте — иными; как Чехова надо не раз в ролях Гамлета,

Эрика, Фразера видеть, чтоб видеть зигзаг основного огромного жеста; так — эти места: в изученье они разрастаются сквозь впечатления глаза.

Еще аналогия — в паузе: Чехов играет — от паузы, а не от слова; другие артисты — от слова; в них пауза — психологическая ретушовка: не остов игры; Чехов, вставши в круг роли, из центра его — молчаливо является; вспомните, как он сидит отвернувшись, — в Гамлете: до первых слов Гамлет подан: с конца — до начала; все, что развернется, в зерне подается: сидением этим. От паузы — к слову; но в паузе — силаща потенциальной энергии, данной кинетикой жеста в миг следующий, где все тело, как молния; из острия этой молнии, как из разряда энергии — слово: последнее всех проявлений; у прочих же слово есть первое; после него — жест лица или мимика в руки и в ноги не влитая часто; и пауза, как выдыхание послесловное, как акт пассивности (пауза эта — зевок); а у Чехова — пауза — вдох, окисляющий кровь, чтоб задвигались мускулы; весь овоздушенный в легком зигзаге, стрелой из паузы жест излетает; из жеста — рождается слово, как плод всего действия; плод этот, сорванный с жеста, плод кислый: у многих.

Мне горы Кавказа увиделись в потенциальной энергии паузы: в шири воздушной; в ней легкий зигзаг проводушенных контуров: в полурастворе игры колоритов; господствует: нежность всех очерков; после уже напрягается мускулом мощь земляная.

Так в паузе воздуха очерки легкие готовят гремящее слово гранитов.

— Да: горы Кавказа; и... Чехов.

Сперва подается сознание звука неслышного; после, как эхо, — ритмический жест; или — очерк зигзага; позднее

же—стабилизация образа, голосовой аппарат; или—эти граниты и эти пирриты.

В поэзии: в паузной форме—энергия ритма, реально стверженного в треск инкрустаций согласного твердого тела (касания к полости рта—языком).

Этой мыслью о Чехове кончился день.

Завтра мы—на Казбеке.

.....

Казбек. 6 июля.

Семен Захаров, почтенный возница, стучал ровно в пять; это—лысый, седой слобожанин, обветренный; нос, как картошка, лукавые добрые глазки со сметкой, игрою и мыслью; вчера, увидев его, мы сказали:

— Поехать бы с ним.

А сегодня, сажая нас, он нам ответил:

— Вчера, как увидел вас,—то я сказал себе: право,—такие какие-то; к своей старухе вернулся,—и ей говорю: увидали меня старика: захотели со мною; так ты,—говорю,—приготовь самоварчик, чего бог послал. Мы заедем—ко мне за сенцом; я живу в слободе, недалеко; откушайте чаю сперва: подкрепитесь.

Что ж, мы согласились; возница—чудесный.

Предместье; свернули на двор; посредине двора, перед деревом, чисто накрытый и прибранный столик; кипит самовар: масло, хлебы, варенье, утиные яйца; почтенная женщина с умным приятным лицом нас приветливо встретила:

— Моя хозяйка: садитесь; живем тут, свои: все—родня; занимаемся вместе извозом; не ропщем: что нужно,—имеем; а родом то—мы из Саратова; сорок пять лет, как я здесь: знаю край; знаю даже истории всякие (сказывали старожилы).

Ходячая хроника! Он до Казбека журчал разговорами, к нам повернувшись и хлыст поднимая на местность; характер горы, описание под'ема к ней, расположение поселков, их быт, население, горцы теперь и лет сорок назад, эпизоды военного времени, перевороты, революционный период, обстрел слободы убежавшими белыми (Семен Захаров от белых спасался в лесах, человек он советский),—все-все проходило живейше; он семь с половиной часов говорил; под конец в голове все смешалось; и я затрудняюсь без путаницы передать.

Воскресала в подробностях местность; про каждый поселок, ингушский и русский, рассказывал:

— В этом домишке случилось то-то; а здесь—перестрелка была; здесь форпосты казацкие башню вон ту сторожили; граница была.

Он нас вез—с наслаждением; был же „поэтом“ он; перед породами скал он вертел головою.

— Люблю я возить; каждый раз удивляешься; вы посмотрите, пожалуйста,—кнут поднимал; и—указывал.

Вдруг отмахнулся:

— Тут с вами и шею свернешь.

Я не знаю, кто с кем мог свернуть себе шею.

Сворот шеи—был.

Быстро ехали только до Балты; меж Балтой и Ларсом—рысцою и шагом; от Ларса пошел сплошной шаг; много раз шли пешком; фэтон отставал, пропадая за выступом; и хорошо ж прогуляться пешечком Дарьяльским ущельем, везде останавливаясь и разглядывая барельефные группы, отвесины. Семен Захаров, не раз соскочив, бросив вожжи мальченокку (взятому), к нам подходил: шли мы вместе.

Близ замка Тамары поднялся не ветер, огонь; мы свернули к духанчику, еле заметному в скалах (тут—двор

постоялый) почайничать; Семен Захаров распряг лошадей и пришел к нам, в закуту; и, дверь отворивши на Терек, все слушали, как он струнил; говорили о жизни, о смысле ее, о Толстом; обнаружилось,—Семен Захаров весьма почитает Толстого; часа эдак два отдыхали и чайничали.

Из зубцов, нас теснивших, вдруг облачко выскочило; и закапали жаркие, крупные капли.

— Пора: по дождю и поваднее.

Чувствовалось: от Казбека повалятся тучи на нас; из-за гребней грозело; и пучности, выскочив вдруг на зубец, надмевались; несло громыханье откуда-то:

— Ноо... До дождя. Мы—доедем.

Я стал поторапливать.

Остановились в завальном участке.

— Вон где прежний путь—высоко показал наш возница.

Путь вьючный служил для прохода—в годах, когда лед здесь упавший дотаивал (с 32-го до 39-го года).

Когда переправились вблизи Гвилет через мост, приближаясь к Казбекской долине (участок пешком мы прошли), останавливались над крутизнами, камни свергая на Терек: заводчик же камнеметательства—Семен Захаров; старик пришел в раж, тащил глыбы; боялись, что он вместе с глыбиною, им свергаемой, сам опрокинется.

На утесах, в тонах цвета скал, выступали плакаты грузинские, здесь намалеванные в ту эпоху, когда штык грузинского милитаризма на нас повернулся (эпоха гражданской войны); современность уже отложила в теснинах Дарьяла:

— Вот очень опасное место: отсюда в ненастье на путь камень падает.

Камни недвижно расселись на очень пологих откосах и выглядели безобидно; как бы в подтверждение под

лошадь слетел тяжкий камень,—в кулак, коль не больше как-будто прицелились в нас; старик сказывал, что перешел он здесь ночью однажды: едва мог пробраться к Казбеку: весь путь был завален камнями; пришлось стоять в темноте; вокруг—шлепались камни.

— Не знаю, как вывез отсюда и сам уцелел—головою покачивал Семен Захаров.

К долине Казбекской слетала свинцовая туча, упавшая от Перевала; подехали к „Отэль Европа“ в момент взрева бури; долина закрылась и стала свинцовой мглою; исчез гигант Шат; оставались подножия, но и они исчезали; тут—вспыхнуло, рывкнуло; ливень ужаснейший грянул, когда мы вступали под кров, распростившись сердечно с заботливым путеводителем; в „Базе“ толпа: в коридорах, в проходах, в столовой; экскурсия, остановившаяся на три лишь дня; прибежали из ливня (вернулись откуда-то); красные, разгоряченные лица, галдеж и обмен впечатлений.

Дом—маленький, весь переполненный, а не мешает никто: никому; никому до чужих—дела нет; всяк тут ходит, наполняясь „своим“; а „свое“—впечатления: от ледников, видов, лекций; программа—наполнена; дня через два сюда хлынет другая толпа; молодежь, здесь живущая, перевезется до Коби, чтоб там задержаться, прожить день или два; и—так далее: передвижение прекрасно задумано „Экскурсионною Базой“: дорога Военно-Грузинская с рядом экскурсий и с лекциями (флора, фауна, минералогия, быт, краеведенье)—роскошь, доступная в странах других лишь богатым; здесь каждый трудящийся за небольшую сравнительно сумму имеет весь максимум ему доступных комфорта; считаю комфортом—не стол и не кров, а—введение в край: специалистами дела.

Сейчас мы узнали, что Преображенская, „казбековед“,

здесь живет; девять раз восходила она на вершину; она—принимает; читает весьма интересные лекции.

С одной из служащих дам обменялся беседою; надо сказать, что прекрасно налажено дело.

Шум, гам, а войди в наши комнатки,—тихо; отрезаны мы; топотанье, рояль, голосистое пенье отсюда приятны.

Пока хлестал ливень—обедали; но—догromыхивало; когда кончили, то увидали в окошко, что чистый безоблачный Шат, побеленный снегами рессеянной тучи, уже веселится.

Мы вышли: безоблачно; вечер; темнеет уже; только шесть (вечер в Владикавказе спускается в восемь); площадка, перила над срывами быстрыми. Терек,—печальные песни поет и наигрывает на свирелях своих: мелодично и мягко (хоть шумно); за ним—разверт гор с колоссальным проломом; в проломе—гора зеленеет; на ней четко-черные контуры монастыря на Казбеке (верней—„при Казбеке“); Казбек, от подножия, прямо под’емлетя с Терека, будучи многовершинным и многоуступчатым; все же: „Казбек“—белорозовый конус, под’ятый отдельно и вздернутый в небо; тот конус—вполне голова; ледник—к груди сбегаящий,—риза; другой, что гребенкой спадает на гребни—рука; ей схватился старик, подошедший сюда из-за гор; впечатление четкое, что сам Казбек, с головы и до ног белорозовый,—встал за горами ближайшими, голову в небо забросив и думу свою колоссальную в междупланетных верченьях найдя; с ней, в нее погруженный, не видит он Шата; Шат—весь преисполнен земною заботой.

Заботой вселенской исполнясь, Казбек никогда не опустит разорванных миром очей: на поселок.

— Но что ж это?

Даже мурашки прошли.

В освещенных вечера, произвольно слагаясь по-новому из уже сложенных граней, пред нами явилось лицо; в нашей памяти мигом угасли известные лики: да, ни „Моисей“ Микель-Анджело, ни „Иоани“ Леонардо не смогут чертами лица передать этот взгляд. Что они? Лишь „эскизы“ ничтожные перед—вот этим.

Что силились мы увидеть на Казбеке вчера,—мы увидели: лишь на мгновение; потом—никогда не видали; лишь в этих оттенках сгасания вычертилось перед нами прекрасное произведение зодчества,—не аллегория зрения.

Он—угасал: он—угас; но его не забудем!

Казбек. 7 июля.

Теснины Дарьяла—сплошной коридор первозданных культур; и—немой; это—странная гиероглифика; будто Ассирия, Индия, Персия, древний Египет проходят пред путником в пантомимических жестах до... готики; или—вернее: проходят древнейшие ритмы природы, в согласьи с которыми складывались первобытные навыки жизни исчезнувших эр первозданных животных; роилась забытая жизнь; и потом во мгновение ока—застыла; и быты фигур, еще только исполненных пафосом жизненности, под влияньем какой-то катастрофы застолбенели в катящихся тысячелетях; припомнилась сказка о спящей красавице, когда пешечком трусили по залам дворца коридорного среди мозаики, произведений литейщиков и инкрустаций, в которых представлена жизнь бронтозавров, драконов, горилл допотопных, венчавших на царство себя: и шепталось:

Я понять тебя хочу —
Темный твой язык учу.

Но язык, объясняющий—дальше: в долине Казбека; жест взлета Казбека; ущелья суть недра земли; и Казбеком же недра приподняты в солнце.

Мелодия смутная, сонная, или—намеки на тему, при виде Казбека—сменяются вскриком: „Я понял мелодию“.

Мы живем в месте, где сходы в теснины Дарьяла,—прогулка домашняя; стоит немного подняться к подножиям Шата,—по ясным зигзагам зубцов обзираешь ущелье до замка Тамары; оно—под ногами; долина—высокое очень плато; облака пред восходом вытягиваются из ущелья: почти из-под ног; утром теплит оно многодымную трубку; и дым вырывается снизу у входа в ущелье; взлетают высоко, как выстрелы трубки, кудрявые стаечки туч: из-под ног; набегают на уровне ног и растащутся, Шатом притянутые, закарбакуются по уступам; и—выше; и—выше; над нами высоко несутся: к Сиони.

Та часть есть ущелье Казбекское: оба ущелья—одно разграничить ущелья нельзя.

Почему-то всегда представляют ущелье построенным из мрачноватых пород; таким Пушкин представил: и диким, и мрачным; но краскопись стен—серорозовая, проштрихованная исщерблением чуть желтоватым и синезеленым; к Казбеку она—розовато-коричневая, розовато-оранжевая, лиловато-малиновая; в той части особенно много порталов из групп; а у Ларса скорей—кружева, гобелены; вон там колоннада оранжево-розовых бородачей; там фигуры громадного „Демона“ Врубеля; помнится мне: очень белая полупещера над полуплощадкой взлетела над узким путем, забирающим вверх; сверху—полупещера, а снизу—мутящийся Терек; здесь яростно так разметался камнями Семен Захарыч; едва увели мы от бездны его, и усаживали все на козлы; он—рвался кидаться; под полупещерой—дуга из, я думаю, тысячей столбиков, переплетенных,

как ткань; соплетения светлого колера; кружево над ними вставших зубцов, утопающих в сини, играло оттенками всех освещений: текучая мимика; точно ... лица; все ущелье—игра многих мимик и их контрапункт в теме дня.

То—симфония; мрачности—нет никакой.

И Казбек—то же самое: я его видел—в шесть вечера, в семь; видел утром, в одиннадцать, в пять; видел—и на рассвете; градации ряда несхожих „Казбеков“ дивился; Казбек не слагался из этих „Казбеков“ отчетливо.

Только вчера, на мгновенье, увидели мы „всеказбекский“ Казбек, или целое, данное темой в вариациях метаморфоз; и теперь—не забуду его, потому что в усильях увидеть единое в многом мы доработались: до восприятия.

Ныне—живем при Казбеке; живем—для Казбека; он—милостив; он—открывает лицо; а обычно—закутан.

Товарищ ко мне обратился с шутивным вопросом сегодня:

— История древнего мира являет различных поклонников: светопоклонников, солнцепоклонников, звездопоклонников, огнепоклонников; где были—горопоклонники?

Я в том же тоне ответил товарищу:

— Горопоклонники—здесь: это—мы.

Мне сказали, что те, что восходят к Казбеку, становятся шуточно здесь кавалерами ордена; „орден казбекский“—конечно же есть каламбур; но его—добиваются.

Встали в четыре—вчера: а сегодня—встал в пять; солнце силилось Шат одолеть, наползая, а Шат—желез-
нел: тени выложили все отвесы морщинами черными; Терек же—хмурился; и черно-синее вплоть до лилового,

небо свежело; Казбек стоял четок и близок: как... сахарный, с бледнорозеющими, напряженными скулами, с сереброватыми ребрами, с фирнами синими; близко и выпукло солнце бросалось; все это увиделось: не из-за гребней стоит: весь он—здесь начинаясь у Терека; он—не ритмический жест, а—тяжелые земли.

Я бросился к другу: стучаться и звать; когда вышли, — не те; тени Шата, отброшенные от подножий Казбека, бежали на нас, утесненные солнцем; Казбек—подурнел, а осолнечный Шат—приблелдился.

Махнули по вольной и ровной Грузинской дороге (по тракту Сиони), любясь, как падала тень на бока крутогорбых гигантов; но режущий ветер от Коби хлестал по поселку; и ночью стояли и гуды и дуды, как если б далекие старцы, сплетая басами, составили хор, тяготящий: всю ночь жили горы под ветер.

Смотрели на верх, в перевальную сторону:

— Что там готовится к ужину нам?

— Вероятно—все то же: гром, град!

— Удивительно: были в Москве уже (Владикавказ—Подмосковье); и—где Москва?

— Нет обычного мира.

— Особенно—все.

— Кухня туч: посмотрите-ка!

— Будет нам к вечеру: воображаю!

— Туда б—к Перевалу.

— Пойдемте—к Казбеку.

Пошли, любовались снежными прядями Шата:

— Мы точно в подарок ему привезли серебра.

— Это—туча вчерашняя.

— Где бы мы ни были—тучи.

— Сегодня туч нет.

— Упадут—с Перевала.

За Терекком: смотрим—поселок Казбек опускается: ниже; сперва—за спиною; потом он—на уровне ляжек; и скоро—под пятками; сухо, отрадно ожгло в ослепительном солнце; аул осетинский придвинулся роем мальчат: разводили руками над, точно стекло, чернobleщущей кучею плоских и острых осколков—размером от фута до метра; и—больше; не камни совсем—перламутры чернейшие: с блещущей росписью, с искрою, с красным, пурпуровым, желтым огнем:

— Смотрите-ка: фрески!

Заборы строений и стены сарайчиков --трепет и блеск;

— Нет,—не Врубель уже.

— Чище Врубеля!

— Жалкая олеография перед вот этою почвой — сам Врубель.

— И то, что смягчил он, — не поняли некогда; ведь декадентом ругали; повидимому, декадентствует местность.

Пирриты Казбека—прекрасны!

Запутались среди тупичков и извилин аула; едва взобрались: в верхний ярус; аул предстает трехэтажным, нелепо разваленным зданием, слепленным из серобеленных кубиков с черными дверками (окнами), плоскими крышами,—одновременно дворами для выше лежащего яруса; улочки выются престранно; меж—крышами; и—через крыши; не знаешь, что верх и что низ, в этом странном гнездилище, преживописном, и верно, прегрязном; из этих ячеек слепляется серый квадрат, иль—аул; впечатление, что—соты; отдельно стоит только здание „Кооператива“ (с покатою крышею).

Мы—над аулом; аул—убегает; и—в землю ушел; зеленейшая тропка в подножии монастыря на Казбеке выводит на взгорье процветшее пурпурной кашкой; тут—

кладбище: роца (потом мы узнали—„священная“); в тень тихо сели, любуясь напряженным и многореберным Шатом; как-будто отсюда он вырос, поселок Казбек провалив; и поселок жалчеет внизу, с умалившейся очень Военно-Грузинской дорогой.

— Вы посмотрите на Шат; он составлен из ряда поваленных кое-как башен; здесь башни соборов готических вдавлены в плоскость; порталы сцепились с порталами: неимоверная куча соборов готических—Шат; мы не видели переплетения этого: это Казбек перевлек; а сегодня—увидели.

— Он при Казбеке — каким-то Сальери стоял; но он—сам по себе.

Кстати: Шат и Казбек в знаменитейшем стихотворении Лермонтова—аллегии; трудно конкретно „воспеть“ эти ребра. Я, вот понимаю, что Лермонтов—маху дал, а переправить его — не могу; для меня сумма узнанного зажимается в два выражения: 1) гряда порталов готических башен, 2) железобетон; а развить выражения в живописание—я не умею: нет.

— Мы опоздали наверх: спалит солнце.

— Быть может, потом и подыдемся к монастырю: теперь — поздно.

.....
Сегодня отправился рой молодежи: их путь—к Гудаяру; забрали машины, привезшие нам новый рой; в нем—компания очень веселых китайцев: студенты, студентки; с длиннейшими палками, с желтыми и возбужденными лицами; малый поселок—кишит; а дорога Военно-Грузинская, точно проспект: утром, вечером—тянутся: путники, группы, тележки и фуры; летают авто: от Тифлиса и Владикавказа; не мало народу под вечер у нас застревает.
.....

Уж—сумерки; мы забрались на подножия Шата; вид— невыразимый на даль, на долину, на выход ущелья; Казбек приподнялся и новый рельеф показал; и отсюда считали извивы ущелья: по грядам зубцов; здесь отрезок дороги на 25 верст виден ясно.

Но черные тучи ужасного вида нас гнали: напали они на долину:

— Таки Перевал—сбросил ужин!

Ударило; от четырех горизонтов—сверкало; мы — к дому: потоп!

Казбек. 8 июля.

Часу в третьем вскочил от притопа могучего: „Что это?“ Это—гремело, хлестало, блистало; гудело, как если б далекие старцы, сплетясь голосами, составили хор; выделялся отчетливый голос; не то—очень громкий фаягот, а не то—человек, исполинских размеров, басящий; да, да: шесть часов продолжалось такое: четыре грозы пронесли с Перевала: одна за другою они упали на нас, потому что тяжелые тучи тащились сквозь нас, зацепляясь—за травы, за крыши, за камни Грузинской дороги.

Но не было жутко: открыв свою ставню, смотрел с упоением на россыпи молний: как-будто пригоршни слепительно синих, слепительно белых огней раздавались бесплатно в завесу туманов; она—загоралась, в клочки разлетаясь; она—прогорела: рассвет; громобой освежающий (не угрожающий), мягкий катался раскатами голоса; в воображенье моем развивался мной сложенный миф, приказбекский:

— Казбек—агитирует: встал на трибуну!

К пяти—уже выскочил; но не узнал я рельефа.

Далекая, твердо холодная синь; в ней из роя сереющего— куски брошенных почв, снегов, скал, проступающих

пастищ: без всякого смысла, конца и начала; как бы острова всекипящего моря, кой-где разреженного — в свет и в куренье дымочков летающих, перемежающихся, и очерченных, иль ухватившихся в резво бегущую стаю; гоньба друг за другом и перекувырк всех летающих стай, всех бегущих вприпрыжку: по землям. Подвижность кипучего мира вокруг, перенесшая вдруг из долины Казбека в мир облачный; в переплетанье казалась странной неподвижность тяжелых кусков, заторчавших безоблачно, иль заливаемых пеною, как... Цихис-Дзирские камни.

Гиганты, обставшие нас, растворились туманами.

То — все затынет; то — все, что затулено, выступит; по мановенью Казбека тяжелые массы тумана истают в сквозные фуляры, потом — в кисею, разрываемую в утонченье гоняющихся друг за другом волокон сияющих; сквозь — восстанавливались все рельефы, ушедшие в белые кучи, летящие с юго-востока; и низко под ними — полет кисеи, извергаемой с северо-запада; меж двух слоев — кисея, еще более тонкая; в ней же, карабкаясь (снизу наверх, сверху вниз), — одиночки барашки меняли позицию бега: от северо-западной — к юго-восточной.

Но вот монастырь, проткнув облако, вышел, заплавав на белой волне; подержался над ней: унырнул.

От ущелья Дарьяльского, снизу наверх выметались отряд за отрядом изорванных призраков, стянутых Шатом горой, перерезанной на-двое выпуклым и снеговым многоглавием тучи; над нею — все те же роздымки; за ними едва розоватые стрелы одели порталы уступов в цветистую радугу перебегающих ясных; верх Шата — скрыт.

Я зашел минут на десять в дом; когда вышел обратно с товарищем, — как изменилось все. Дикая свора туманов, летевшая к нам, победилась, стеснилась к Шату, давилась

горными ребрами, мягко растягиваясь в развиваемый нитью моток белых ниток, испуганно нас огибавших на ребрах, за нас улепетывавших до прохода в долину Сиони; и там, перерезав дорогу, — притягивалась приказбекским ребром; и неслася обратно: по ребрам подножий; так мы оказались в светлом кольце облаков; но кольцо — разрывалось в проломе, под монастырем, снова выступившем; крепла драка отрядов, бросаемых пастью ущелья (на юго-восток) с кисеей, повернувшей на северо-запад: прыгня, кувьрки, перебеги, атаки быстрейшие (то — разделение фронтов, то — всеобщая неразбериха); над этой битвой — затмение, растмение уступов недвижимых, то темных (от тени), то светлых (осолнечных).

Метаморфоза туманов. Я в первый раз в жизни увидел подобное зрелище.

Казбек. 8 июля.

Только что с лекции.

Вышли бродить, — нас любезная дама из базы окликнула:

— Слушать не будете? Я — вам советую.

— Что? — отозвался я.

— Лекции: Преображенская лекцию сейчас читает китайским студентам.

— Спасибо: конечно.

Вошли в помещение „Базы“ (при нашей гостинице); очень просторная, светлая комната — скорей веранда; из окон она состоит; в окна смотрит Казбек; длинный стол, много лавок; совсем примитивно, но чисто и весело; стены — в плакатах; отчетливые диаграммы и карты повешены; три или четыре витрины: с породами и образцами; все лавки телами обсижены: все темножелтые, очень веселые лица китайцев; иные — в очках; симпатичны — китайки: в юбках коротких, коротковолосые: это — студентки;

Среди них переводчик китаец (студент); он записывает слова лекции; Преображенская, очень сухая, седая, старушка, в широких штанах, опершись спиной о раму окошка, рассказывает очень внятно, не быстро: о флоре, о фауне, о девяти восхожденьях своих на вершину Казбека, показывает фотографии: поговорит минут десять, повертывается к записывающему вскачь переводчику, с тихой улыбкою:

— Переводите теперь.

Переводчик, восставши и руку подняв, начинает певучими, мягкими звуками голоса, точно играя на гласных, читать по-китайски записанное содержание лекции, нос уткнув в книжечку, и дирижируя легкой рукой с карандашом над головами товарищей.

Те—жадно слушают.

Все—перевел: досконально; и—Преображенская с той же улыбкою—дальше ведет за собой.

Мы—приткнулись у стенки: на краешек лавочки; слушаем: преинтересно. Она говорит об опасностях, ею испытанных при восхожденьях, о проводниках, без которых погибла бы, и о попутчиках, посередине пути испугавшихся: крути восхода; она говорит об ужасных буранах, о будочке среди ледников, ею выстроенной, где однажды отсиживалась много суток, чтоб мочь продолжать восхождение:

— Он—злой тогда был.

Он—Казбек; о Казбеке она говорит в таком тоне, как будто он—одушевленный предмет.

— Он был — злой; он был добрый; позволил нам то-то; он—не захотел: не пустил.

Выраженья подобного рода пестрят ее речь.

Среди серии этих рассказов запомнились — как-то особенно мне: ледниковое озеро ярко-зеленого цвета,

глубокое, очень прозрачное (виден лед дна); до сих пор неизвестно, откуда такая окраска воды; очень яркo рас- сказ о скале: злой скале при Казбеке; восход на вершину проходит под нею; здесь—подстерегает она; днем и ночью метая большие каменья: столетия; ты никогда не узнаешь—откуда на голову ринется камень убийственный: перебегаешь по скату зыбучему, ноги в песке увязив, приседая иль—в бегство бросаяся: камни ж летят перманентно; тут необходимо умение, смелость, находчивость и непредвзятость, чтоб перебежать под обстрелом; ужасна опасность от трещин в гигантской броне ледников; они—пропасти, сверху затянутые; наступи—и погиб, и—стремительно ринешься в черную пропасть меж перпендикуляров холодных: один проводник альпинистки, сорвавшись в трещину, — дико повис на спине в глубине ее: в мраке, по горло в воде; ледяная зазубрина меж гладких скважин случайно его удержала; он долго висел, пока сверху канаты не бросили; после пытались измерить дно трещины: дна у ней—не было. Еще запомнилось: в быстром сходжении с конуса Преображенская раз покатила по гладкому, почти отвесу—в смерть явную; но пролетевши огромную плоскость, случайно застряла—над бездною.

У основания конуса—сланцы; уж после идут—диобазы, граниты; верх конуса — из андезитовых лав, извергавшихся мощно в третичном периоде; конус есть кратер потухший; восход на него—все же легче, чем на Эльбурс; но—опасность всегда; М. П. Преображенская, храбро осилила конус еще в девятьсотом году; а в двадцатом году восходила в последний раз.

Мы с интересом рассматривали у витрин породы; как бывший естественник, много вынес; пирриты, плевнившие нас у аула; и ряд—андезитов, коричнево-красных;

глядели на карты хребта; симметричная смена^а пород—от Тифлиса и Владикавказа—к центральной гранитовой складке (Дарьяльский район); эта складка приближена к Владикавказу, где на протяжении верст 30 — ряд пород и пластов; та же смена в обратном порядке к Тифлису—медлительна; видишь отчетливо: катастрофический, сбросовый ритм, соответствующий впечатлению вздрога всей местности—с Коби.

.....

Под вечер бродили по краю обрыва: к ущелью; громадины дымов—вываливались целый день снизу вверх на плато, на поселок; ущелье, как яркий дракон, изрыгало из пасти в окрестность свой дым.

А Казбек завернулся угрюмо в плащи тяжелейшие.

— Он — постоянно такой — говорили — случайно, что эту неделю открылся.

— Для нас—шутил.

К вечеру—дождик.

Казбек. 9 июля.

Мелькающий блеск, легкий воздух: Казбек—задымлен; как за облаком облако, мысли меняют рельеф; закрепить невозможно; и занято время: последний денечек догуливаем: вот окутает Кучино роем забот и работ.

Завтра с первой тифлисской машиною мы унырнем себе под-ноги: в степь; надо б жить для экскурсий; но время пропущено; ждали бы нас ледники: Девдорахский, Гергетский; с утра наблюдаем колонны рабочих, учащихся, учителей, марширующих вверх; впереди идут слабые; крепкие—сзади: следить за отставшими, не позволять отставать; раздаются, как пики, длиннейшие горные палки, топорики горные (скалывать лед); возвращаются эти колонны под вечер, веселые, краснобагро-

вые, часто промокшие; наши китайцы ходили; и так—каждый день.

Не взошли: на хребты, опускающиеся с вершины Казбека; к зеленым озерам хребта Цхуар-Корт; даже не были на Квенет-Мта, где стоит монастырь; шли туда: опоздали; экскурсии на водопады, к нарзанам—пропущены; этот поселок есть узел экскурсий: прогулка к Сиони, к ущелью, в котором—аул с укреплением старым; к нему упадают откаты снегов; и над ними Казбек белый, с низу до верха, стоит с измененным рельефом, не скрытым торчащими кряжами, как над поселком; аул—недалеко: и дама, служащая в базе, бывает там часто; сегодня звала она нас; но, прождав ее тщетно, мы сами пошли: через Терек; спустились в густейшую траву; и тропкою шли у подножий; да вдруг усумнились: туда ли?

Назад.

Все ж гуляли вдоль вольной грузинской дороги, к Сиони, чуть видному, прочно прижатому к срывине кряжистой и многогорбой Сиони, то—дачная местность тифлисцев.

Подул ветерок, посылающий за спину крылья; и нас перегнал; мы бежали пред ним и за ним, задыхаясь, как угорелые: перегонки развеселые. Солнце—не жаркое; небо—обломнины иссинячерного, зеленоватого камня; оно ж—бирюзовое к склонам; и—белый блеск тучек; дорога, как скатерть; авто за авто—выносились с долины Сиони, бросая бензинные запахи в запахи ярко-пурпуровых кашек; не воздух, а—мед.

Бронзоватые, или чугунные скаты, покрытые мохом, с поднятием круто-покатых изгробин нагорных лугов обрамляли дорогу, меняли рельеф; то—сострится, зайтятся: длинная цапля; то, выявив профиль,—в систему подгорбков она обернется; а то она станет стеною

гребенчатой, глаз поведя по ущелью; так горы играли с глазами, как... в прятки: „найди-ка меня!“

Обрывая наш бег, останавливались перед кучами камня, то — перед перилом мостка; ах, — пирриты; куски драгоценностей весом в десятки пудов (не взвалить, а то — скрал бы).

— Нет, что бриллианты перед этим пирритищем!

— Фреска!

— Ее бы в Московский музей.

— В Исторический.

— Под Васнецовской картиной свалить, — чтобы стало картиной?

— Она посерела б, как труп.

И пирриты, и туфы обсыпали путь.

И опять стало ясно, что вся революция Врубеля, с криком им поднятым, — от зарисовки вот этого камня, от знания переложить эти трещины в ясность отдельных мазков; утверждавшие, что эта техника есть декадентство, не видели просто: Кавказский хребет — „декадентство“ такое, которое Врубель ослабил.

И перед Кавказским хребтом, если б смели сказать „безобразие“, — то и сказали бы; не говорили, стыдясь: ведь поэты воспели Кавказ. Но я слышал вчера еще:

— Многие не переносят долины Казбека; скучают и рвутся к курортам: смотреть, дескать, нечего.

Я понимаю, что „нечего“, как, например.. в Эрми-таже; его предварительно надо весьма изучать; и потом, изучивши, рассматривать: много; а то, — ничего не увидишь; где много дается, там глаз невоспитанный, краски смешав, видит серь, а не блеск.

То же самое с произведением словесности; жидкие жилки сравнений виднее на фоне никчемнейших слов для иных: говорили вчера про Надсона:

— Талантище!

А густота слов наполненных—серость для тех, кто читать не умеет:

— Стар Пушкин; и—сучен.

Казбекский район—тоже сучен; я верю, что Крым веселее: тут—нужно натаскивать; перед поездкой инструктор глазной должен дать указания; вспомнились тезисы Петрова-Водкина: живопись, вся,—есть наука: увидеть; страница великая в творчестве Врубеля есть плагиат у перил осетинских заборов.

Здесь мы подбирали осколки: они мне нужны для романа „Москва“.

Проезжающий горец, увидев за этой работой нас, прокричал:

— Нэ карош! Ест карош: нэт,—нэ этат!

„Карош“ — по его представленью — хрусталик; их осетинята нам тыкали в нос:

— Купи камэн: карош!

Еще мысль: вот откуда мотив переливно-павлиньих кавказских платков: из тончайшего шелка; фон черный, иль чернолиловый; на нем—переливы; мотивы пирритов. Так именно перерисованы старой народной культурой, как через столетия эти ж мотивы явились словом новейшим в развитии живописи; острогранные трех и пяти пудовые осколки разметывали фосфорический блеск; я не видел, что — камни: я видел—атласы спрессованные.

Любовались атласом Кавказского камня.

В защемлине: справа и слева—хребет; вырываясь, в клещи зажимает свои; здесь граница долины Казбекской с долиной Сиони; коричневокрасные скалы пород андезитовых пели в лазури; по этой дороге пойдешь: побежишь; прибежишь незаметно в Тифлис.

Мы свернули,—поэтому.

Казбек. 9 июля.

Вечер: последний. Казбек—не открыт: дымогоны угрюмые переполняют все владины, гладко срезая хребты; лишь предгория, переходящие в тени, бросаются в обод отчетливый туч, пролетающих с севера низко; глаза опускаешь на Терек и слушаешь черные, громко грустящие речи; запомнятся мне: голубая Арагва, Кура желтопенная, Терек всклокоченный и разговор задушевный с Семеном Захарычем на берегах, поднимающих песни,— о мудрости старца Толстого.

Поселочек встал в огонечках; и как-то весь сжался лавчонками, базую, будкою и фонарем замигавшим; кругом—синечерная крадется ночь, разевая дарьяльскую пасть; из нее же—арбы поднимаются, переезжают над мостом; с них—говоры; густо набиты; девицы—в повязочках красных; и—юноши.

.....
Ночь: где же тучи?

Луна: ослепительно; ясны, атласны луга; через них, весь серебряный, гонится Терек; и жметя под скаты; а небо—сплошной лабрадор: черносиний, слегка отливающий фосфором камень, одетый в сияющие, светонезные стаи чистейших барашков; даль—зеленотусклая, мутная влагой и грустью под скосом теней: коленкорово черных.

— Пойдемте от Терека: я не люблю сочетанья луны и воды.

Я—люблю: в этом месте, склонясь над перилами, долго твердил я:

Увы, напоминают мне,
Твои жестокие напевы
Иную жизнь, и при луне
Черты далекой, бедной девы.

— Жесткое что-то в напевах.

— Вот то-то.

— Луна на воде—это прошлое: бесповоротное.

Я—не люблю его.

Вышли к дороге.

А там—вереничка барашков, прижавшихся к Шату; за ней, ближе к нам, те же; барашки, но—в воздухе: ближе еще—они, взмытые воздухом; прямо над нами—они же; но—в небе; все стадо громадное—куполом белым вдавилось в высь; глянешь к Шату—нет Шата: на уровне нашем—небесная высь с облаками; над нами—она же; поселочек с малым отрезком дороги—висят себе: в небе.

— А что—хорошо?

Белостенные домики, глаз фонарька и фигурки, перебегающие из духана в лавчонку, из „базы“ в темь улочки, вместе с арбою, где спят комсомолки,—на небе; пойдешь и упрешься не в Шат, а в плывущее стадо, сияющее и несущее нас в океане воздушном.

Вдруг, через несущийся облачный мир—приподнесенная белая грань: пробужденного старца.

— Прощай.

Тут закапали слезы: из белого мира.

Владикавказ. 10 июля.

Не знали, сумеем уехать, иль нет, потому что машины тифлиские—густо наполнены: нам говорили: места—на-расхват; я задолго еще до прихода машин наблюдал за долиной Сиони; оттуда внезапно взлетела пыльца, как от взрыва беззвучного; и мы с вещами—к стоянке для автомобилей, не без эгоизма избегнув вниманья таких же, как мы, кандидатов на место (их несколько праздно металось); меж тем, облака густой пыли, летящей на нас, будто выбросили неуклюжую автомобильную фуру

(багажную); зная заранее, что нет билетов, вступил деловито в сношение с шоферами фуры:

— Возьмете, товарищи, нас?

— Что же—можно: в багаж, так в багаж.

Поскорей сговорились.

Сидим—в багаже, комфортабельно кресла устроив из мягких предметов (портпледов); удобно и пусто; к шоферам—мы спинами; и между нами—пространство всей фуры; лицом—к незакрытому вырезу; очень высоко сидеть; поскорее бы трогались.

Фырк,—и машина тифлисская; фырк,—и вторая за ней; обе—полны; мы слышим, как засуетились вразброд кандидаты на место; их перехитрили мы; кто-то враждебно косится на фуру, увидев в ней—нас, а она—улетает; уж в пятый мы раз разрезаем теснины Дарьяла.

Гм,—фура не то, что машина; во-первых: машина проносится, близко прижавшись к отвесам; а фура—не может прижаться: несется, восьмерки рисуя, по самому краю ужаснейшей пропасти; и—жутковато мне стало, когда я заметил: одно из громадных колес при крутом повороте зигзаг прерискованный нарисовало над пропастью, взвесься на воздухе; я удивлялся умению шоферов справляться с путем; изумительно ловки: до... дерзости; нет, пронестись над отвесиной на трех колесах, второй бы я раз не хотел; пусть достаточна ловкость; хотелось бы все же..., чтобы дерзости меньше испытывать: шутки в Дарьяльском ущелье—опасная штука.

Мы, сидя спиной, увидели в пятый раз фазы пути, как они, выплывая внезапно, от нас улетали; и был нам экзамен; сейчас—говорили мы: вот что появится; и—попьялось оно.

— Через мост?

Под колесами—мост.

— Тут ледник Девдорахский?

Он — вот.

— Теперь замок Тамары?

Конечно.

Да, да: на зубок разучали ущелье: и видели—спинами.

С Балты вз'ерошилась белая пыль; стали мы задыхаться: жара при слетаньи в равнины разительна; Владикавказ—задыхался; мы ж эти последние дни упивались приятною свежестью.

.....
Вечером вновь любовались из парка Столовой Горой и той (смежной с нею), которая напоминала все старую голову турка; она—безбородая; горькие складки в губах и у носа; печальные мути в овалах глазных; горы вспыхнули снова малиновым бархатным светом.

Ледник издалека зловеще багрился.

И вновь рассыпались местности пепельной синью; и в муть непроглядную сел горизонт, на котором чернело все то, что за миг так пурпурило.

Владикавказ. 11 июля.

Хлопоты: вещи сданы—на Москву; но—ведь вот что: попасть в Сталинград—невозможно; есть две пересадки: Беслан, Тихорецкая: случай господствует здесь; перманентно сиди в Тихорецкой; тут перехитрить надо участь; и—вылезть в Прохладной: вполне алогически; так попадешь в Сталинград; эта тайна пути приоткрылась случайно; сойдя беззаконно в Прохладной,—чаль на „Минеральные Воды“.

Тогда Тихорецкая гладко пройдет.

Коль поступишь ты по расписанию, то посиди в Тихорецкой.

— Хотите лететь? — предлагали нам — аэроплан — ежедневен: недорого, быстро.

Ох, тяжело вато; тропический зной; но — вот: стало темнеть; понеслись ураганные тучи; ударило ливнем; гроза — пронеслась.

Еще с вечера — сели: сидеть, сложа руки.

С трех ночи — на станцию; до — ни работать, ни — спать; глядеть — нечего: Владикавказ исходили не раз; он — короче куриного носа.

Еще — гулять в сад; удивлялися аисту: бродит меж столиков; нос наставляет на... руки сидящих, на хлебцы; свершив свой обход — удаляется.

— Владикавказ свеж — прелестен: настрой только дач, санаторий, гостиниц, слетятся отовсюду; здесь степи — с одной стороны; с другой — горы; леса и купанья.

— И — чистая пыль.

— Неказист, а — уютен.

Минеральные Воды. 12 июля: вечер.

Измучились: с трех до одиннадцати — теснота и бои за места; врыв в вагоны; и — вырыв из них; всюду — случай: а — странно; казалось бы, Владикавказ — пункт отправный Грузинской дороги; артерия: с Волги на Волгу; но согласованье маршрутов имеет в виду „Ленинград (иль — Москва) — Минеральные Воды“. Когда попадаешь с Тифлиса, не знаешь: ловушки — захлопывают: то — Беслан, Тихорецкая; к Владикавказу — лишь веточка. С охами вырвались; с охами — сели в Беслане; едва дорвались до вагона четвертого класса: в Прохладную; только с Прохладной, опять — таки, — рывом, пробилась в вагон „Минеральные Воды“: из грязи, кулей и коричневокрасных носов; горцы с вишнями, бурки, бараньи, клокастые шапчищи; и — перебранки гортанные.

В Горской Республике слабо весьма представленья железнодорожных путей.

Пред Бесланом набросилась черная тучища; верно, вступили в район ураганов; рассказывали: разразилось над Грозным вчера; глядя в тучу, я думал: снесутся дома; все—затопится: мы—сойдем с рельс.

У раз'езда Колонки единственный вид на Ледник, упдающий прямо с седла меж Казбеком и Гимарай-Хохом; но я ничего не увидел; упавшая туча, летя с ледника, точно коксом замазала все.

Не успели под'ехать к Беслану—ударило ливнищем; и под ушатом воды—из вагона в вагон; вбились в кашу: шкур, шапок, кинжалов, татарских повязок, кисех и корзинок сдавемыми вишнями; да—два потопа: воды и черешен.

На всех остановках сидевшие люди, впадая в вишневый экстаз, ударяя друг друга пустыми корзинищами в превеликом давеже бросались наружу и после вволакивали за собой пуды вишен.

Я—понял: в вагоне сидели торговцы плодами (из Владикавказа, Беслана).

И вот уж—Дарг-Кох: снова цепь белых гор, подошедших вплотную; Кавказский хребет приподнялся опять в новом виде: иные громады, иные рельефы, иные снега; много раз появляется снежная цепь; и всегда она—новая; перед Тифлисом, по линии Баку-Тифлис—музыкальна, легка; вблизи Гори—Сванетия приподымается белым огромнейшим миром; с Батума за двести верст белая цепь—смутный сон; перед Владикавказом—трагическая пантомима она; у Дарг-Коха—грозит и гнетет необузданной силой угрюмости (может быть,—фон черных туч так явил ее); белая цепь говорит: „Не смей приближаться: низвергну отсюда тебя, ущемлю ледниками; и пулей чеченской убью“.

И припомнилось мне, что—

„Чеченская пуля верна“.

Ни следа нежной легкости склонов Военно-Грузинской дороги: угроза и хмури навалилась снегами; с Дарг-Коха взвивается путь Осетинской дороги, которая, как говорят, интересней Грузинской; Дарг-Кох, Алагир, ледник Цейский; и далее—через Перевал: к Кутаису; Сванетия—там, за горбами,—горбами стоит; ее видели—с той стороны.

Говорят, что в семи лишь верстах открываются лучшие виды на этот центральный участок Большого Кавказа.

Но—тронулись с гор; умалялись они, отставая; мы шли Татарбутским ущельем; вот—Кабардинские горы; и вот—Котляревская, с веткой на Нальчик.

Прохладная.

Уф,—наконец: стало сносно.

.....
Сидим с двух часов: уже десять; докучливым сном Минеральные Воды гремят: батальоном буфетных тарелок; еще неизвестно—уедем ли.

В степь заглянули: торчит—мешковатый Машук; вспоминаю свои безотрадные годы: девяностые годы; тому назад тридцать пять лет я здесь был.

И тогда было очень бессмысленно.

Точно пародией злою на горы увидели мы: кривули да горбы; и пародией злой на веселье стоит верещанье тарелок. Котлеты, нарзан, пиво; снова—котлеты, нарзан.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

В О Л Г А.

Пароход „Чайковский“. 14 июля.

Сутки — в пустых, свежаватых степях; дождичишко подкапывал в сереньком небе; и веяло горькою прянью: полынями; вот в половине шестого пошел Сталинград безалаберный—кучами домиков (новая стройка), осевший на желтых песчаниках, выроинах, буераках; его обступили—заводы, повесившие над садами гардины из дыма; редела труба пароходная.

Пристань; все—спит; делать—ничего; наш пароход—не под'ехал; бродили по улицам; главная выглядит мило; и сад городской—недурен; вскочили мы в еле ползущий трамвай; оказались за городом, около чудищ: заводов; и здесь пошла новая стройка; вернулись на пристань.

Билеты—в кармане: пришел пароход; вот и—взяты; каюта—удобная: столик, диван: плыть, да думать мне.

Тронулись!

Радость: сидеть у окна, обвеваться влетающим ветром; в обстаньи великороссийского вида, текущего медленно; море—прекрасно; прекраснее—горы; но в эту минуту казались прекрасней всего—колоритов серебряно-серых гармония; и постоянство упрощенного очертания; бирюзоватозеленые с золотизной небеса,—в белых тучках; громадная, желтая, зеленоватая Волга; и серые крыши

надводной деревни—с откоса; со-плотия, соединенья плотов, образующих чуть не деревни с шестами, прудками, лавченками, тихо тащимых пыхтящею крошкой, разрывшей своим колесом бутетени¹⁾ воды.

Уж луна над сплошной сталинградской степью сорила щедротами золота в тысячеструйные течи бутылочных вод.

Хорошо...

Волга течи колышет, от'емлемые от великороссийской; равнины, неся их на юг; поглядите на карту бассейна; и—переверните ее: вы увидите древо, которого ствол, уходящий в Каспийское море; „она“—древу жизни.

Сегодня я это впервые узнал полнотой впечатлений—от неба, воды, берегов, деревень и плотов; прежде знал—головою.

Кто Волгой не плыл,—никогда не узнает историю нашей страны, потому что прошедшее—вскрыто и выброшено: берегами, плотами, деревнями, водами, воздухом.

Кинематограф истории, лента истории—Волга.

Без мыслей еще, только порами тела вбираю в себя счастье жизни: я—русский; не национализм это, а—физиология; выньте меня из пространства родимого, я, точно вынутая из воды белорыбица, тотчас задохнусь.

Тут—жив и здоров, потому что в течении, в медленных плесках о борт парохода,—великая жизнь.

И ее ощущаю, как будто впервые,—на Волге.

Пароход „Чайковский“. 15 июля.

Отваливаем от Камышина; я—переполнен удобством сидения перед открытым окошком с открытыми мыслями,

¹⁾ Бутетень—переполох, шум.

с мягко бегущими видами, не ошарапавшими криком красок глаза; как-то мягкостно: плыть бы да плыть, без конца, без начала, чтоб все проходило в кругах горизонтов, разорванных, ставших спиралью, винтящею время, — и шире, и шире, и шире; и шири — сменяются ширями.

Вижу, что — ширь; но и ширь уплывает; ширь встречная.

Как — все окончится. И — будет Кучино. И горизонт мой — замкнется в инерцию, в быт, в неподвижность, в привычку. С течений ты чувствуешь, как утекая из бытов, ты вне горизонта; он — зонт, под которым сидел; ветер — вырвал; и — нет горизонта-зонта, но — вращенье: иных горизонтов — в иных горизонтах, где „зонт-горизонтик“ закручен, уносится: с бытом, привычками, классом, впечатанным, точно клеймо эксплуататорской фирмы; все горизонтали — утоплене; и — вертикали; они в измерении третьем сложились: вращением всех разрываемых бытиков.

Действует здесь представляемость; только — иная: текучая.

Ветер отрадный, окошко открытое — два представленья, рисующие состоянье мое в „СЕСЕСЕР“; оно было — окошком из зонтика царской России, которая — вырвана: „зонт-горизонт“ укрывал горизонт; ветер вольный же — линия метаморфоз: земли — в воду; и вода — в волю воздуха; наша Россия казалась землей; говорили о „нашей земле“; она ж — воздух; пожалуй — вода; земли — не было.

Эта земля, или зонт-горизонт — „бытик“, нас прикрепивший к пространству, накрывши, как мух; с Волги чувство охватывает: возвращаюсь домой; но мой дом — замыкание всех горизонтиков, иль диалектика линии жизни, незамкнутой.

Волга—окошко, открытое в русскую землю, прореха в „зонте“, накрывавшем нас; тут понимаешь: что сиднем сидело, обстав своим бытом,—легко потекло; и „быт“ волжский—безбытица; замкнутые кругозоры—текут; музыкально течение; нет замкнутых окон; ты—течешь, текут—воды, текут—берега, две положенных горизонтали, в которые бурно врывается ветер, вмещающий все.

Я смотрел на баржи, на системы плотов; верно „быт плотовой“ строен перетекающею представляемостью; Волга есть исторический динамизатор сознания русских людей в те периоды, когда „зонтик“ великороссийской державы—сознания, ставшие мухами, крыл.

И неспроста слагалась аллитерация: „воля и Волга“; конечно же: волжская вольница—только попытка раз'ять горизонт в горизонте; на Волге она—осязаемый факт; в Ленинграде, в Москве можешь том нацарапать „о воле“, о „Волге“, и все ж не испытывать порами кожи того, что становится здесь непосредственно данным течением: вод, берегов и ветров.

„Воля Волги“—удары плотов в берега косных бытов; уже „на плотях“ применили текучую метаморфозу сознания к жизни; случилось от этого то, что в „оседлом“ сознании назвали „бунтом“; „бунт“ Разина, „бунт“ Пугачева.

Поплавайте,—и вам откроется, как современность „родимого воздуха“ то, что вы знаете, как „эпизод исторический“, витиевато рассказанный книгами.

Воля и Волга!

И ветер над Волгой—о будущем дул: Пугачев, Степан Разин—обветрены будущим; „Санкт-Петербург“ и „Москва“ восприняли: разбой мирового масштаба.

Но „Санкт-Петербург“ и „Москва“—горизонтики: зонтики.

Пароход „Чайковский“. 15 июля.

Берег, которого линии—скромность, достоинство, сосредоточенность, мощь; мы под серой досчатой древесиной: сложения бревен на желтосереющем берегу; серая столбчатость лессов, с каемками: черной, зеленой (травы чернозема); срез почв и подпочв — показателен; лекция по геологии русской равнины; и—фазы размыва: отвершки, овраги, овражищи, балки даны в поперечном сечении сбегая к реке: известняк; выше—лесс, подпирающий мощно кайму чернозема; под свесами—мели, намывы; и сравни-вашь барельефы кавказских пород с барельефами лесса; те—великолепные тяжести; эти—пластичны, как воск; очень легкие великорусские земли, со струями вод дождевых, убегая всегда из-под ног, обнажают овражную яму: рельеф—сеть оврагов: хребетцы им вырезаны;—отрицательный, странный рельеф: то есть—уровень, „минус“; на Западе: уровень—„плюс“; „плюс“ на „минус“ есть „минус“ всегда; и вопрос, разрешавшийся в „минусах“ жизни,—вопрос роковой: отношения востока Европы к оседлости Запада.

Если бы мы проводили нормаль—увидали б, что горы Европы встают над нормалью; у нас—нет рельефа; нормаль вырезается к центру земли хребетцами... из воздуха; горы воздушные, вниз головою стоящие,—ниже нормали; они и слагают меняющийся, убегаящий вечно рельеф; земля русская носится водами: вместе с водою бежит; не поставить оседлости: все—унесется; и земли—скудеют; на западе нашем—унесется водами; а на востоке—песками заносится; непереносные почвы Европы остыли: в „бытах“; переносные, легкие русские почвы—безбытны; „быт“ русский—искусственен; „запахом русского духа“ был жив россиянин; беру слово „дух“ не в мистическом

смысле — в метеорологическом; „дух“ — русский воздух; Россия живет и водою, и воздухом; водовоздушная, а не земная стихия она.

Представление о „русской земле“ — утопично; „утопии“ вечно смывались: неслись по овражкам на Волгу; она — принимала размытие: в ширь; подмывался — крутой бережок; подмывалась — усадьбица; смылась в столетиях крепость Кремля: Мономахова шапка, боярские, смытые водовоздушной Россией с России твердевшей, по Волге проносятся мысленно мимо меня; „быт“ размытый давно уносился; толпа бродунов, не „имеющих града“, слагалась в верховьях: отколом; в низовьях — „разбоем“; разбои, расколы — размои; в размоях текла настоящая русская жизнь, потому что „рельеф отрицательный“ русской великой равнины — рельеф положительный: собственность — фикция; огороди ее, — к ней подберется овраг, куда все утекает; забор исторический нам ограждал, говоря откровенно, — лишь ямы, которые стали со временем: грязными ямами.

Ложь всей истории нашей: ее заправила, мешая понятия, скрепила Россию с землей, — не с водою, не с воздухом.

Обобществление, бессобственность бытов особенно свойственна нам, кореняся в условиях геологических, так сказать; русская „катастрофичность“ — рельеф отрицательный в определении исконного и положительного устремления к жизни в текучем; с бегущей к Волге землей все живое бежало — сюда; что казалось боярской России деянием хищников, было восхищенностью изживаний под воздухом и на воде (не — в земле).

Но до срока восхищенный, — хищником делался: Волга же делалась Дамой Прекрасной; и он отдавал ей земную царевну: то — жест показательный.

Жаль, что „волжанин“ не видел великой реки: разумею я Блока.

Скуднейшие, серые земли, а сила—великая; серые земли открыли по-новому „серость“ крестьян, иль—изъян ярких красок: рельеф „отрицательный“; но из рельефов таких, из раствора водою и воздухом всех континентов громадное „да“ сложит новый, текучий свой быт.

Теперь верую в Волгу.

„Инония“, странный, есенинский крик,—узнаю тебя здесь.

Ночь: по левому берегу—стай огней; подползаем к Саратову; мельницы, зелени, белые здания, много баржей, много... пьяных: душнест; заузилась Волга; белесые пятна открылись на ней; это—мели.

Пароход „Чайковский“. 16 июля.

„Земля“—собирательна; в этом понятии земля подается с водою и с воздухом; мы ж прикрепили понятия к твердостям: к почвам; ведь родину можно б назвать „русским небом“ (иль—воздухом); смывные русские земли, несомые водами, не выражают России: пассивны; активно же—„русское небо“; Россия—равнина; земля в ней—кайма горизонта; все прочее: воздуха, тучи; фон—небо; земельный рельеф—отрицательный; самый дефект „наплевательский“ русский—невывявленный позитив; он показывает, что „моей“ земли нет; „мои“ земли—текут; они—общие земли.

Рельеф отрицательный (горы воздушные, воткнутые в дно оврагов вершинами) отражены, но—нервически, как содроганье болезненное: „вверх пятами“, отмеченное Достоевским; „Инонию“ видит поэт „вверх пятами“ (при-

помните); эти „пяты“ есть, конечно же, воздух текущий; глава ушла в землю; и „наша“ земля—„пуп земной“; но он—всюду; он центр „всей планеты“: для американца, француза и русского; „национализм“—сочинен; для стихии российской, которая—воздух, особенно национализм безобразен: для западника сам рельеф—в небо брошенность почв; а для нас верх воздушно-небесных хребтов—дно оврага; отсюда—„пяты“ Достоевского; сверженность в яму овражного дна, из которого вымыто к Волге все лучшее наше.

До Достоевского явлена тема Раскольникова нашей Волгой; раскол и разбой здесь—жест стати грядущей: жить „вольно“.

Весь запад—система забориков, через которые вход запрещен; но сознание русского обращено в беззаборность; и первый художественный отраститель сознания—„Слово о Полку Игореве“; вспомните только рефрэн его: „Русская земля: за шеломенем еси“.

„Шеломень“ есть граница; начало истории ставит нас вне „шеломени“; влились мы в чужой „шеломень“: в Чингизханов; татарство—рука его, сжавшая русское горло; „Московское иго“—скрепившая центр: прикрепившая к „пупу“.

Петр мыслил засыпать рельеф отрицательный: хотел нормали; реформа Петра есть борьба с выросставшим оврагом российской действительности; на бумаге засыпаны были овраги; расставились „перегородки“ коллегий; но ими хранились: растущие ямы, что скоро увидели: встал Пугачев, декабристы явились; историей русской общественной мысли земля утекала; и надписи „се есть Россия“, здесь „ямы засыпаны“—фикцией были; татарство и бюрократический Запад по-разному силились вбить в государственность; и—прикрепляли к земле, то—

кнутами и пытками, то—оделеньем щедрот; но под самое здание троица лозунгов („Самодержавие, Православье, Народность“) овраг подводила: козь Разин—открытый бунтарь, то „спасающий“ Победоносцев—подкопник; подкоп под дворец—шел двояко: подкопом действительным и циркуляром, гласившим: охрана стоит при заборе, при собственности, при земле; но охрана стояла при... яме, которую загородили заборами.

Русский Октябрь окончательно выявил идеологии „русской земли“; и Россия рассыпалась в гласные воздуха, в „ойя“, и в шумы согласного „рсс“, или СССР: в „СССР“: „рсс“ рас-кола, раз-боя, теперь открепившись от боя колом, боя в морду, которым держалась идеология „истинно русских“, явило действительность скрытую в лозунге „Воля и Волга“.

Зажариваю афоризмами; мысли—в намеках; из каждой—трактат можно б сделать; я им позволяю влетать, улетать, вместе с ветром: мне Волга надула все это.

В четыре часа стали стопорить в мелях и косах; заводами серыми берег оброс; и в них—Вольск: рой рабочих; стояли четыре часа при цементном заводе (грузили нас); гарь—зашибала струю горькопряного чобра.

В восьмом лишь снялись; тихо тренькала старой „Травятой“ саратовка тощая.

Перелетали зарницы из-за берегов.

Пароход „Чайковский“. Июля 17.

Ясный, солнечный день; север дышет охладю; воды полны музыкальною силой; в каюте сидеть невозможно; я—зажил на палубе; бегал взад и вперед и купая в лучах свою лысину: тишь берегов и спокойная радость, что

так разрежешь Россию; страна—мировая, чудесная, не закрепленная, будущая.

Я не знаю, откуда пришли комсомольцы; они заполняют всю палубу: острые, быстрые, бодро веселые; кто-то из них на рояле уселся играть; но... но... но... что играется? Перестарелое: „Молитва Девы“ и вальсик Годара; лет сорок назад, когда играли на рояли „Молитву“, то взрослые переговаривались:

— И старье же.

„Бессмертная“ музыка корреспондирует вновь появившимся лицам: откуда такие? С Саратова; едут — в Казань; на них страшно взглянуть: до чего „обыватель“ „бессмертен“; напялили юбки „роскошные“, восьмидесятых годов; и—уселись есть.

Комсомол—утешает; на „этих“ же взглянешь, и весь—передернешься:

— Где революция?

Страшно, читатель!

Сегодня в газетах читал: забастовкой охвачена Вена, но... не... удалась; тут на палубе юные всходы культуры грядущего втиснуты в жир обывателя, чувствующего победно себя; этот—лопает: эта—распялившись локти и пальцы топыря на мощном своем животе, в нос бросает свои „приллианты“ на кольцах.

Нет,—встряска нужна.

.....

Косы, мели, пески, ряд затонов извилистых; не разберешь, где фарватер, залив, рукавок; он—за островом, вытянутым к горизонту; днем шли под Хвалынском; стояли в Сызрани; за ней—кружевной перекинутый мост; два пролета поспешно наляпаны, стиль нарушая; мост этот разрушен был.

Ветер окреп; Волга взморщилась, гребнем пошла,— цвета кваса; к закату волнение стало; под берегом шли: под лесами, каймимыми мелями; соединенье цветов—и вершин, и песков в зеленостозлающем воздухе сумерок—неописуемо; я оторваться не мог; но упали тьмы ночи (луна встала поздно).

Пристали к Самаре с большим опозданием; не мог оторваться от зрелища: бочки огромные скатывали—часа два: и чудесные ритмы приносов и вносов (разгрузка, нагрузка); рассвет намечался, когда мы отчалили.

В сон повалило, и я не видал Жегулей.

Пароход „Чайковский“. 19 июля.

Шестой день мы плывем; жарко; парит.

Прошли Богородск.

Выростали и стены и башни; картина—причудливая; это—Кремль; под Казанью: но город вдали (за семь верст): семиверстные мели наверно; трамвай пробегает по ним; мы сошли, погружаясь до щиколок в пыль и в пески; что—песок, и что—пыль, не поймешь; но всего больше—пыли; дорога к трамваю заставлена табором громких пролетов—и эдак и так: кузовами, колесами, дышлом, оглоблей; ни им раз'ехаться, ни через них пройти; не придумаешь эдакого... „усложнения“ порядка; прошли таки через... китайскую головоломку: оглоблей; и снова завязли в пылях под уродливыми кривулями-домами, с упавшими набок дырявыми крышами, с битым оконным стеклом и с упавшими в пыль подворотнями; точно компания в драке побитых парней доцлелась кое-как до реки, и раз'ехалась глупо ногами—совсем не дома; на одном кривуле—„аграматными“ буквищами: „Номера“ (буквы вставлены между оконцами с битыми стеклами).

„Номера“ оказались жилыми.

Трамвай, визжа жалобно, влек—по пылям, по местам, безотрадным до крайности, где ряд домочков, вполне отвратительных колеров чередовались с пустырем, смесью песка с запыленным бурьяном, жестянками, битым стеклом; и—так далее.

Эдакой тускляди я не встречал.

Уморительно встречный трамвай приподпрыгнул на рельсах; сидевшая публика вз'ерзнула—эдак на метр; мы решили: при этих условиях посередине пути мы сломаемся, став меж Казанью и Волгою, чтобы пешком возвращаться.

Доехали все ж до скопления подлой окраски домов; по дороге увидели речку желтевшую, всю в лопухах; я решил: эта речка—Казанка; искал знаменитого серого селезня,—где он? Ведь сказано, что—

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке

Серый селезень плывет.

К сожалению,—серого селезня не было: полно: Казанка ли это? Зато засерели пылями и грязными колерами безотрадные улицы; стоп: дальше некуда ехать (Кремль—в сторону стал: до него не добраться); совсем непонятно, зачем мы приехали,—чтобы малины и хлеба купить. Хлеб, малина—на пристани.

Встречный трамвай; мы—в него: покатали обратно, визжа и подпрыгивая; да, Казани казать было нечего: да: Неказань; а для нас Наказанью она оказалась.

За то посетили казанцы „Чайковского“; палуба, вся,—переполнилась ими: приехали... кушать; откушивали,—уезжали обратно: к себе, за семь верст; вероятно такое таскание по пароходам проходим здесь в моде; для нас, пассажиров, тасканье—тоска; вы подумайте: провинциальные эшманы, вместе с донэповским Китычем, стаечка

дам штукатуренных, тощих с устами кровавыми, при „приллиантах“—уселись в столовой: уписывать жадно; селянки (буфет пароходный неистово дешев); защелкали пробки „донского“; служитель потом с возмущением нам говорил:

— День бегаешь, — пристань: отлив пассажиров; соснуть бы часок, отдохнуть, а тут—„эти“ привалят.

Иные из „этих“ остались; запомнился мне разудалый казанец: ввалясь с яркокрасным лицом, с перепуганным, непонимающим оком, свалился за стол, но был убран оттуда служителем; к стойке привален; у стойки, по-моему, он просидел, не вставая, до... самого Нижнего; к Нижнему стал протрезвляться; другой щегольской „господин“, с шапкой набок, введен был на палубу двумя накрашенными провожательницами, подпершими руки казанца плечами своими; прощаясь с ними, он чмокался, чуть ли не плача; от'ехавши с версту от берега, он заходил с двумя новыми дамами, тоже накрашенными; и воссевши на палубе, столиком путь преграждая, потребовал громко, чтоб был сервирован... банкет; в это время огромное зарево встало; послышались звуки набата; горела деревня Васильевка; наш пароход, став у берега, лодку с пожарной машиной спустил; часа два ожидали ее; мы толпились у борта, взволнованные: ведь сгорело село; в стороне от пожара откупоривались бутылки шампанского; пьяная морда казанца, которому с негодованием прислуживали, припадая к одной из „сих дам“, продолжала нализываться.

Кровь вскипела во мне: подошедши, я бросил:

— По-моему, эту свинью надо бросить за борт.

Мой протест не имел никакого успеха; и „пир на весь мир“—продолжался.

Пароход „Чайковский“. 20 июля.

Мы — близимся к Нижнему: скоро конец путешествию; переменялась Волга; была она белобережною; стала же — краснобежной; сменилися почвы; но — мели, но — мели.

Растут: и растут, и растут!

Пароход едет шагом; в громадном пространстве воды ряды знаков означили узкий фарватер; мы в нем, но — винтим; впечатление: двум пароходам никак не раз'ехаться; с виду же — ширь водяная; прижатые к правому берегу, переезжаем под левый.

Который день — „красный“; да, в солнечных бусах, в пурпуровом, ярком своем сарафане красуется матушка Волга пред нами.

Сейчас подошли к Чебоксарам: красивый поселок, старинная церковь привстала в высоких, крутых берегах, яркочернокопированных (верно суглинок); спокойные спины холмистых изгибов в сквозной мураве — фосфорически блещут; гладчайшие срезы земель — точно срезы кондитерских тортов; налево — сосновая масса стволов; Волга — уже; соплотия — редки; но — много баржей, растяжелых, огрузнувших, с кучами бревен; быт, Волгу обставший стал тяжеловесен; исчез „ветер воли“, столь явный к Саратову; видно „разбойная воля“ сменяется быстро раскольничьей верою.

.....
Великолепие!

День — настой трав, берегов, блеска, трепета; плавно летят берега приоткрытием ровных долин, оползающих к Волге меж склонов пологих светящейся всеми оттенками радуги; издали — зеленосинь фосфорит: леса — неисхоженные; Волга стала серебряным зеркалом, переходя-

щим в забел; вся сквозная она, овоздушенная; восприятия света и тени—сквозь дымку мягчайшую; все—деликатно, subtilно, целительно: точно дары ослепительной силы закрыли покровом, чтоб мы не ослепли.

Ничего не спит, но — поет.

Голова пошла кругом у Козьмодемьянска; и мы говорили:

— Как все, что ни есть, умягченно.

— Нежнее Кавказа.

— И — тоньше.

Вон там, на зеленой горе, изошреньем церковей деревянных, садами кудрявыми, домиками приукрасился Козьмодемьянск; ясный воздух призывно звонил; вся окрестность звонила; и — понял: напек головы (целый день я под солнцем): и — сердцебиенье.

— Идите в каюту: притихнете.

Великолепие.

К вечеру — вышли; вдали Васильсурск показался; река, берега, освещение, запахи, воздуха — те же: певучие, нежные; слева высокий, обрывистый пламенный грунт, охоломленный светящейся желтозеленою свежестью:

— Цвет цихис-дзирской земли.

— Тоже — Пламенная Колхида.

Плывем мы из пламени ль прошлого — в пламень грядущего?

— Нет, — посмотрите.

Сквозные стоят желтозелени в синезеленых лесах, в синесерооливковых сумерках ската овражного; оранжевет в косых лучах солнца несобранный хлеб; и белеет слепительная, синеглазая церковка.

За Васильсурском — мистерия сумерок.

Все зеленя, сини, оранжевенья закатной земли, жемчужовые мути влажневшего воздуха, точно раз'ятые, нам изливали зеленозлатистую воду; протмилось: сиреневые и лиловые плоскости скошенных, низких прибрежий мutilи туманом; и скоро столпились в оливковочерную, строго бежавшую тень.

— Отражения!

— Каждое деревцо!

— Что отраженье, что явь,—невозможно понять.

Все травинки, щербины и стволы без измененья, себя повторяли: направо, налево; стояли в удвоенном мире; земли-то и не было: были каемки зеленые, узкие произрастающие вверх и вниз.

Сели в тьмы.

Нижний-Новгород.

Утром—та же картина.

Окрестности—радостны: бег берегов; роскошь зелени: дачи, леса и поселки; белейшие мели направо; и левые, краснобережные стороны; много плотов, парходиков, много надутых баржей, кузовов, парходиков, лодок, в сияющих и крутоватых изгибах реки; ряд затонов; люднеет; и вот выясняется: белый высокобережный, раскинутый Нижний в сквозных разделах; монументальные здания, сереброглавые церкви, соборы напруженые, синеглавия, стены и башни.

То—Кремль.

Любовались подсолнечной феерией зданий; но жаль—пароход, где так деятельно отдохнули, окрепли, где мыслилось вольно: на Волге прослушал симфонию мыслей, которую, коль пригодится, я мог бы развертывать в том: философия русской история мне отражалась, как берег, в струях становления новых возможностей; от бытия,—к осознанию.

Волга — бытийствует: ветром и плеском; в ней ты, надывшись, прочитываешь отдаленные фабулы русской истории.

— Жаль уходить!

— Не хотите ли ехать назад, — предлагает служитель.

— Поедемте, — друг мой подтрунивает.

— Не назад, а вперед бы: на Каму, на Белую.

— Это оставим: до будущего.

— Вы пожалуйста к нам, — еще раз — дружелюбно прощается с нами заведующий отделением кают.

Мы — сложились.

Причалили.

Сдав на хранение багаж, мы — в почтамт; за плацкартами: хвост; едем — завтра; несемся с трамваем наверх, в прикремлевский район, чтобы остановиться в „России“; в „России“ — прекрасно, но... заняты все номера: по заказу московскому; нас — направляют:

— А чисто ли?

— Да, — отделение наше.

Две комнаты, сносные: и грязновато, и дураковато; совсем не „Россия“: обман ожиданий; ну — что ж! Какнибудь: одни сутки.

Спустились вниз, в „Биржевой ресторан“ — пообедать; здесь, верно, кутило когда-то купечество; стати купецкие в стенах, в обоях, в подсвечниках, — а обхождение — советское; нижегородские стены сочатся порой прошлым жиром.

Мы — в Кремль: он — прекрасною кучею древностей встал с высочайших откосов в равнины бескрайних заволжских затонов, лесков и кустков; зеленейшая местность; от стен прикремлевских — разлет, или даже, — улет: улетим вдоль лесков и полянок: в Москву; эту местность я знаю: протянута до Подмоскховной, до Кучина: та же она; я глядел на заволжье московское; и — говорил себе:

— Кучино, здравствуй!

Мелькнуло мне: кучинский быт проживания перегрузил меня книгами; без перерыва продумывалась вереница проблем; почему-то история вдруг развернула длиннейшую ленту: и в перепроверке проблем исторических, в перепроцитке сырья устанавливались иные критерии; начал я с Греции, и неожиданно врвался в историю Средневековья, в историю прей; кончил странно—историей точных наук: математики, физики, химии; как-то по-новому встала проблема науки (подход исторический); перепроверка студенческих знаний возникла (я все же—естественник); двадцатилетье последнее в мысли научной меня занимало особенно; вперся в проблему материи: с картезианства до... Бора:

— Да, Кучино—учит!

Я слишком учился последние годы; был нужен по каз; и Кавказ — показал; через камни по-новому минералогия встала; а через породы приблизилась вдруг геология; к минералогии и к геологии сонно отнесся я некогда; перевлекалось внимание—химией, физикой.

— Кажет Кавказ (каз-каж); Кучино — учит — вдруг вырвалось вслух.

— Это аллитерация: (к)ажет и (К)учино; в „к“ же—связались аллитерации: что же в них „К“?

— „К“ в суб'екциях букв—звук кремня: иль крепчайшего взрывного: голосовая струя тут прижата к гортани; „К“ звук материальности.

— Договорились мы до...

— До чего?

— Впрочем, каждый художник имеет такие суб'екции.

— Вундт этот род представлений серьезно трактует, как род аналогии, строимой чувством; Скрябин и Корсаков, воспринимали тональности цветом; цветной слух—

изучен; а коли так — позволительно мне, литератору, переживать алфавит — в аналогиях чувства; я чувствую: к, г — есть мир минеральный; д, т — мир растительный; п, б — животный; могу даже, если угодно, я анализировать непроизвольности воспринимаемых: зубные, губные, гортанные, — взрывные звуки иль — твердые; было б искусственно царства природы к сонатам привязывать.

— А заключение какое ж, — с улыбкой спросил меня друг.

— Чтоб вернуть парадоксу шутивому: казы Кавказа, учение Кучина — сосредоточены в „Ка“. „Ка“ же — мир материальный; в „Ка“ я погружался учебю в Кучине; но „Ка“ показом Кавказа — вполне стало ясно; простите меня, есть пословица: „не любо — не слушай, а врать — не мешай“; очень скучно чреватые мысли по „вумному“ строить; их надо до срока держать в состоянии шуточном; выскажешь умность до сроку, она — невпопад: недоносок.

— А много средь нас „недоносков“ шатается, — с умными, мертвыми умностями: дважды два!

— Не четыре!

Из Кучинских уединений почувствовал зов на Кавказ, будто что-то узнать было нужно.

Узнал: в цвете почв, в цвете воздуха, в камушках, в листиках, в переплетенье орнаментов.

В Нижнем [себя ощутил вдруг пчелою, собравшею мед.

.....
Пронеслись по зеленым бульварам над Волгой; они начинались с кремлевских обвалин: здесь двадцать три года назад бродил с другом; кипели беседы: о Гете, Бетховене, Канте; проблема культуры — вставала; прошло: все проходит; и друг, „друг старинный“, теперь полагает, что — враг (основательно); очень любя его лично, был

принципиально я тверд с ним; не вынес: и все — разорвал с своим „другом“; спросил его я над двенадцатилетием принципиальной вражды, — с прежнею личною дружбой:

— Поняли вы, что та твердость — не злоба, а принцип, доказанный всей ситуацией жизни моей?

Здесь, над волжским откосом с „врагом“ (бывшим другом) беседовал я — в том же месте, где некогда с „другом“ (врагом) я беседовал; двадцать три года сомкнули круги: „друг“ иль „враг“? „Друго-враг“, „враго-друг“? Отношенья людские сложнее словарного перечня „ясных критериев“.

„Друго-врагов“, „враго-другов“ не мало я видел: а — Блок? Написал я „восторженно“, в светлые краски рисуя его, а себя обрисовывая шутовски. Зачем? Потому что иначе я должен бы был его жизни сказать, сжавши губы, — суровейше, принципиально:

— Бессмысленная, непутёвая жизнь: Нет и нет!

Похоронные речи, — особые речи; им я отдал дань: зарисовкой „прекрасного“ Блока; а над безобразием Блока — молчанье теней, безобразящих „Белого“; если бы все я сказал, то наверное, не было б повода, прочтя „Память о Блоке“ оплевывать Белого. В случае с М. — показал себя твердым: М. — враг; в отношении к памяти Блока с твердейшею твердостью, даже с жестокостью по отношению к „Белому“ выявил этого Белого „тряпкою“ Белый, чтоб „память“ почившего только что не возмутить своим:

— Нет: нет и нет.

В Нижнем — прошлым охвачен.

Минувшее проходит предо мною.

Давно ль оно несло событий полно,

Волнуясь, как море-океан.

Теперь оно.. спокойно.

.....
— Ну что ж—уезжать?

— Уезжать!

— Поскорее: от прошлого этого; мы-то ведь — живы; и мы—в настоящем, чтоб выучиться избегать прошлых промахов: глупого дон-кихотизма, себя-осмеянья для... памяти „друга“.

.....
Так прочь же остатки двусмыслиц и интеллигентщины: тихо твердей настоящее мускулом мысли и воли!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Вместо предисловия	5
Глава I. Батумское побережье	9
„ II. Тифлис	57
„ III. Боржом, Цихис-Дзири	113
„ IV. Под сенью Грузии	161
„ V. Военно-Грузинская дорога	199
„ VI. Казбек	234
„ VII. Волга	273



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3

ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ:

Л. Н. ТОЛСТОЙ
НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Со вступительными статьями и заметками
А. Грузинского и В. Саводника.

С о д е р ж а н и е: Зараженное семейство (комедия в 5 действиях). Как гибнет любовь (рассказ). Как умирают русские солдаты (рассказ). Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро сделалась большой. Оазис (отрывок). Речь в заседании Общества любителей российской словесности. Нигилист (комедия в 3 действиях). Разговор о науке (философский отрывок). Парижский дневник 1857 года.

Этот том неизданных произведений Л. Н. Толстого печатается впервые и может служить пополнением любого издания полн. собран. сочинен. Л. Н. Толстого.

Цена 1 р. 50 к., в перепл. 1 р. 80 к.

Н. НЕКРАСОВ
ТОНКИЙ ЧЕЛОВЕК

и другие неизданные произведения.

Со вступительн. стат. и комментариями К. Чуковского

С о д е р ж а н и е: Тонкий человек (роман). Каменное сердце (повесть). Как убить вечер (пьеса в стихах). Записи о декабристах (статья). Гумбольдт (ст.).

Цена 1 р. 60 к., в перепл. 1 р. 90 к.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3

ИЗДАТЕЛЬСТВУ „ФЕДЕРАЦИЯ“



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3

ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ:

М. ГОРЬКИЙ

О ПИСАТЕЛЯХ

Содержание:

Л. Толстой. В. Короленко. А. Блок. Сергей Есенин.
А. Чехов. Леонид Андреев. Н. Каронин-Петропав-
ловский. Н. Анненский. О Гарине-Михайловском.
М. Коцюбинский. О М. Пришвине. Памяти Л. Лунца.*
О писателях самоучках. Об Анатоле Франсе. Кнут
Гамсун. О Ромэн Роллане.

316 стр. Цена 2 р. 50 к., в изящном переплете
2 р. 80 к.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
Москва, площ. Свердлова, Копьевский пер., 3
ИЗДАТЕЛЬСТВУ „ФЕДЕРАЦИЯ“

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВЕТЕР

С

КАВКАЗА

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ

КРУГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ

Цена 2 р. 80 к.
в папке—3 руб.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВУ

/// ФЕДЕРАЦИЯ ///

МОСКВА

ПЛ. СВЕРДЛОВА, КОПЬЕВСКИЙ П., 3.

ТЕЛ. Ч. 06-74



ВЕТЕРСКАВАКАЗА